

18+

Алсёна Мропинина

ПАПОЧКА МИЛЛИАРДЕР:
КАК ПАПА СТАЛ ПАПОЙ

Моя Т



Лисёна Тропинина
Папочка миллиардер. Как
папа стал папой. Том 1

<https://litres.ru/74592129>

ISBN 9785007147965

Аннотация

Блеск миллиардерской жизни рушится в один день: Даша, годами спасавшая репутацию Владимира Соловьёва, решает уйти. В тот же момент выясняется, что у Вовы есть дочь Полина — и девочка хочет в поездку только с Дашей. Так начинается путь к настоящей семье. Но прошлое не отпускает: Маргарита грозит судом и борется за контроль. Смогут ли они стать опорой друг для друга — или прошлое окажется сильнее? «Папочка-миллиардер» — история о семье, которую никто не планировал, которую теперь страшно потерять.

Содержание

Глава 1. Красный лифчик	5
Глава 2. Когда мир становится слишком	20
Глава 3. Результат	39
Глава 4. Первый вечер	121
Глава 5. Ультиматум	130
Конец ознакомительного фрагмента.	133

Папочка миллиардер. Как папа стал папой. Том 1

Лисёна Тропинина

© Лисёна Тропинина, 2026

ISBN 978-5-0071-4796-5 (т. 1)

ISBN 978-5-0071-4797-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Красный лифчик

Дарья Власова вошла в офис в шесть тридцать утра — на два часа раньше обычного. Не потому, что было много работы, хотя работы всегда было много. Просто ей нужно было побыть здесь одной, в тишине, пока не пришёл он. Пока не захлопнулась дверь его кабинета, пока не зазвонил телефон, пока мир не начал вращаться вокруг Владимира Соловьёва с привычной скоростью, от которой кружилась голова.

Ночь была длинной. Даша почти не спала — впрочем, как и предыдущая, и та, что перед ней. В три часа утра ей позвонил пиарщик Вовы, Левон, и голосом человека, который тоже не спал вторые сутки, сообщил, что Владимира сфотографировали на вечеринке в «Гаване» в компании некоей дамы, которая оказалась замужем за депутата. Фотографии уже гуляли в телеграм-каналах, и нужно было срочно придумывать легенду. Даша села на кровати, открыла ноутбук и начала писать: «Владимир Соловьёв провёл вечер в кругу друзей и коллег...» — стёрла. «Предприниматель Владимир Соловьёв посетил благотворительный вечер...» — стёрла. Стерла, потому что ложь, даже отполированная до блеска, оставалась ложью. А Даша устала лгать.

В четвёртом часу она позвонила Левону обратно и сказала: «Не комментируем. Пусть сами придумывают, что хотят. Нам безразлично». Левон замолчал, потом осторожно спро-

сил: «Даша, ты в порядке?» Она ответила: «Да, Левон. Я в порядке. Я просто больше не хочу быть пожарной». Он не понял. Это было нормально — мало кто понимал.

Потом был звонок от водителя в пять утра: «Дарья Сергеевна, Владимир попросил машину к девяти, но в его графике нет выезда до обеда. Что мне делать?» Она ответила: «Жди, как обычно. Может, передумает. Может, захочет просто покататься». Водитель вздохнул — он давно привык к тому, что у Соловьёва планы меняются пять раз до завтрака.

В шесть Даша лежала в темноте и смотрела в потолок. На тумбочке лежал телефон, экран которого светился от уведомлений: семь непрочитанных сообщений, два пропущенных звонка, одно напоминание о встрече, которую она сама же и поставила. Она не стала их читать. Вместо этого встала, приняла душ, оделась, выпила чай — не кофе, потому что от кофе в последнее время начало ныть под рёбрами, — и поехала в офис.

Москва в шесть утра была почти красивой: серое небо ещё не успело стать тревожным, улицы были пусты, и город выглядел так, будто задержал дыхание перед очередным днём. Даша смотрела в окно такси и думала о том, как странно устроена жизнь: пять лет назад она пришла в этот офис как помощница, полная амбиций и надежд, а теперь уходит из него как человек, который устал больше, чем хотел бы признать.

Здание на Садовом-Кольце стояло тихо, как всегда в этот

час. Охранник у входа кивнул Даше — он знал её в лицо, потому что она приходила раньше всех и уходила позже всех, и иногда он думал, что она живёт здесь, просто переодевается по утрам в лифте. Даша улыбнулась ему и прошла к лифтам.

На этаже было пусто. Кондиционер уже гудел, но свет в коридорах ещё не горел — его включали в семь, по расписанию. Даша шла в темноте, чувствуя под ногами мягкий ковролин, и этот путь казался ей чем-то вроде ритуала: каждый шаг — это ещё одна минута тишины, ещё одна секунда, когда она принадлежит только себе.

Она открыла дверь своего кабинета, щёлкнула выключателем. Свет вспыхнул ровно, без мерцания. Всё стояло на своих местах: три монитора, стопка папок с пометками, кружка с надписью «Лучший помощник года» (подарок от отдела маркетинга, вручённый в тот год, когда она ещё радовалась таким вещам), и на краю стола — небольшая шкатулка из тёмного дерева. Даша открыла её, достала сердолик — простой, оранжево-розовый, с гладкими гранями. Камень был тёплым, будто хранил в себе чужое тепло. Она покатила его в ладони, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Потом ещё один. И ещё.

Этот камень она нашла три года назад, на берегу моря, во время единственного отпуска, который позволила себе за все пять лет работы. Тогда она думала, что отдыхает. Теперь понимала: она уже тогда искала повод уйти. Просто не знала ещё, как это сделать.

Даша положила сердолик обратно в шкатулку, села за стол и включила компьютер. Пока тот загружался, она достала блокнот, в котором вела личные записи, — не рабочий, а свой, с обложкой цвета топлёного молока, и перелистнула на последнюю страницу. Там, аккуратным почерком, было написано: «Д Reasons to Go» — «Причины уйти». Список занимал три страницы. Последняя запись, датированная прошлым вторником, гласила: «Вова забыл, что я человек, а не приложение „Решить всё“». Перед этим: «Четвёртый чужой лифчик за месяц. Я уже не считаю». Перед этим: «Звонок в три ночи: „Даш, я не знаю, где я. Приезжай“. Я приехала. Он даже не поблагодарил».

Даша перечитала список, закрыла блокнот и подумала: «Хватит. Сегодня я ему скажу».

На экране появилась заставка, потом рабочий стол. Она открыла папку с названием «Увольнение», которую создала три месяца назад, в тот день, когда поняла, что больше не может. Внутри лежал один документ: «Заявление_Власова_увольнение.docx». Она открыла его. Текст был сухим, как положено: «Прошу уволить меня по собственному желанию с...» Дальше стояла дата, которую она каждый раз стирала и не решалась вписать. Сегодня она вписала. Сегодня она допишет.

Пальцы легли на клавиши, и слова стали появляться на экране — медленно, будто нехотя, будто каждое из них нужно было уговаривать: «Прошу уволить меня по собственному».

му желанию с 1 октября. Оснований для досрочного расторжения договора не имею. Претензий к работодателю не имею». Слова ложились на экран, как кирпичи в стену. Стена получалась ровной, но Даше казалось, что она строит её не для того, чтобы защититься, а чтобы обозначить границу: вот здесь заканчивается её ответственность, вот здесь начинается её жизнь.

Закончив, она перечитала текст. Он звучал официально, отстранённо, будто писал кто-то другой. Но подпись должна была быть её. Даша взяла ручку, вывела на бумаге свою фамилию, поставила дату. Потом положила лист на край стола — так, чтобы он был виден, но не бросался в глаза. Как будто давала себе ещё немного времени, чтобы привыкнуть к этой мысли.

Она откинулась в кресле и закрыла глаза. Пять лет. Пять лет она была здесь, в этом офисе, рядом с ним. Пять лет она знала, где лежат все запасные ключи, все пароли, все оправдания. Помнила дни рождения всех его бывших, потому что именно ей приходилось отвечать на поздравления. Знала, какой кофе он пьёт в плохом настроении, какой маршрут выбирает, когда хочет сбежать от реальности, и какие слова лучше не произносить, если он на грани. Она столько всего держала, что иногда казалось, будто если она хоть на секунду разожмёт руки, всё рухнет.

Она вспомнила свой первый день. Ей было двадцать три, она только закончила магистратуру и думала, что ей повез-

ло: помощница генерального директора крупной компании, зарплата, от которой у подруг отвисали челюсти, офис с видом на Садовое, свой кабинет, свой график. Она не знала тогда, что «свой график» означает «его график», что «свой кабинет» означает «bunker рядом с его кабинетом», а «помощница» — это человек, который всё решает, но ничего не решает.

Первый месяц она думала: это временно. Полгода — это опыт. Год — это карьера. Два года — это уже привычка. Три — это зависимость. Четыре — это страх. Пять — это усталость, которая стала частью тела, как будто у неё внутри выросла вторая кость, и эта кость состояла из чужих проблем.

Но были и хорошие моменты. Да, были. Когда Вова впервые доверил ей переговоры с корейцами и не вмешивался ни разу. Когда он прислал ей цветы на день рождения с запиской: «Без тебя я бы развалился. Спасибо, что держишь». Когда он заболел — по-настоящему, с температурой под сорок, — и она сидела у его кровати, меняла полотенца, варила куриный бульон, а он, бредя в полусне, сказал: «Даш, не уходи. Пожалуйста». И она не ушла.

Эти моменты она тоже держала в памяти, как камни на полке: тёплые, гладкие, они грели ладонь, когда становилось совсем тяжело. Но lately она ловила себя на том, что всё чаще вспоминает не тёплые, а холодные моменты. Не благодарность, а небрежность. Не доверие, а привычку. Не «спасибо», а «где мой кофе».

Даша открыла глаза. За окном начинался рассвет — бледный, неуверенный, как будто солнце тоже не было уверено, что хочет вставать. Она смотрела на город, который просыпался медленно, неохотно, и думала: «Я как этот город. Каждый день начинаю сначала, каждый день делаю вид, что всё в порядке. Но сегодня всё будет иначе».

В семь часов на этаже стало оживать. Пришла Людмила, секретарша на ресепшн, — крупная, спокойная женщина с тёплыми глазами и голосом, который не повышался ни при каких обстоятельствах. Даша услышала, как та поставила чайник, открыла жалюзи, включила музыку — тихо, почти неслышно, как фоновый шум для тех, кто приходит первым.

— Доброе утро, Дарья Сергеевна, — сказала Людмила, заглянув в кабинет. — Кофе?

— Спасибо, Люда. Только чай, если можно.

— Опять не спали? — Людмила посмотрела на неё с тем мягким сочувствием, которое не требует объяснений.

— Оптимизма ради скажу «спала». Но это будет неправдой.

Людмила покачала головой и ушла на ресепшн. Даша слышала, как она тихо напевает что-то старое, забытое — может, из кино, может, из юности. Этот звук был таким мирным, таким домашним, что Даша на секунду позволила себе расслабиться. Просто секунду.

В половину восьмого стали приходить другие сотрудники:

сначала бухгалтерия, потом юристы, потом маркетинг. Офис наполнился привычным гулом: шаги, голоса, звонки, смех у кулера. Даша слушала этот шум и думала, что он похож на шум моря: если долго живёшь рядом, перестаёшь замечать. Но стоит уехать — и не можешь заснуть без него.

Вова пришёл в восемь тридцать, как всегда, — будто приносил с собой немного ветра и света. В дорогом костюме, с чуть расстёгнутой верхней пуговицей, он выглядел так, словно только что сошёл с обложки, но при этом оставался каким-то до обидного живым — не статуей, а человеком, который вечно куда-то опаздывает и всё равно успевает. Он прошёл через приёмную, бросил Люде: «Доброе утро, кофе мне, пожалуйста», кивнул Даше через открытую дверь и направился к своему кабинету.

— Доброе утро, Даш, — бросил он привычно, даже не глядя на неё.

— Доброе, — ответила она тихо.

Вова прошёл мимо, и за ним остался шлейф дорогого одеколona и чего-то ещё — неуловимого, что всегда заставляло Дашу задержать дыхание. Она никогда не признавалась себе, что именно. Но сегодня это не имело значения. Сегодня она скажет. Сегодня всё решится.

Она взяла со стола заявление, разгладила его ладонью и встала. Ноги были ватными, но она заставила себя идти. Два шага до его двери. Один стук.

— Да? — донеслось из-за двери.

Даша вошла. Вова уже сидел за столом, листая планшет. На его лице была та привычная полуулыбка, которая означала: «Я тебя вижу, но мир интереснее». Кабинет был большим, светлым, с окнами на три стороны. На стенах — фотографии с премиями, наградами, рукопожатиями. На полке — стопка книг, которые он никогда не читал, но которые выглядели солидно. На подоконнике — кактус, подаренный Дашей три года назад, единственное живое существо, которое Вова умудрялся не загубить.

— Вова, мне нужно с тобой поговорить. Это важно.

Он поднял глаза, и в них мелькнуло что-то вроде любопытства. Даша редко говорила «это важно» — обычно она просто приносила проблему с готовым решением, и ему оставалось только кивнуть.

— Слушаю.

Даша положила заявление на стол перед ним. Он взял лист, пробежал глазами, и на его лице ничего не отразилось. Ни удивления, ни огорчения, ни страха. Ничего. Будто она подала ему не заявление об увольнении, а счёт за электроэнергию.

— Что это?

— Заявление. По собственному. С первого октября.

Вова посмотрел на неё, и в его глазах мелькнула тень чего-то, что Даша не успела разобрать. Может, растерянность. Может, раздражение. Может, просто утренняя сонливость, которая ещё не отпустила.

— Даш, у нас через неделю Дубай. Ты сама всё готовила. Презентация, перелёт, встречи. Не время для шуток.

— Я не шучу.

— Ну перестань. Ты что, из-за вчерашнего? Левон мне рассказывал, ты ночью не спала. Я понимаю, это был напряжённый день, но...

— Вова, это не из-за вчерашнего. Это из-за всех дней.

Он замолчал. Посмотрел на неё, потом на заявление, потом снова на неё. Даша ждала, что он скажет что-то ещё: попросит остаться, пообещает измениться, хоть что-нибудь. Но он просто вернул лист на стол, встал, одёрнул пиджак и сказал:

— Мы обсудим это после Дубая. А пока — у меня через час переговоры с японцами. Мне нужен отчёт по третьему кварталу и обновлённый график встреч.

И ушёл. Точнее, не ушёл, а просто отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен. Даша стояла в его кабинете с заявлением в руке, и ей казалось, что она только что говорила со стеной. Не с человеком, а со стеной, красивой, дорогой, с видом на Москву, но стеной.

Она вышла, тихо закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. В коридоре было пусто. Кондиционер гудел. Где-то вдалеке звенел телефон. Даша закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Потом ещё один. Потом открыла глаза, вернулась к себе, положила заявление обратно в ящик и подумала: «Он не услышал. Он просто не услышал».

И это было хуже всего. Не его гнев, не его безразличие, а вот это: он даже не посчитал нужным отреагировать. Будто её слова были слишком мелкими, чтобы тратить на них время. Будто она была функцией, которая не может исчезнуть, потому что без неё система не работает. Но и не функцией, которую нужно ценить, потому что функции не ценят. Ими пользуются.

Даша села за стол, открыла отчёт по третьему кварталу и начала работать. Привычно, механически, как делала это последние пять лет. Цифры складывались в таблицы, таблицы — в графики, графики — в презентации. Она работала быстро и точно, и ни один человек в этом здании не заметил бы, что внутри у неё что-то надломилось. Потому что Даша давно научилась держать это внутри. Держать так крепко, что никто, кроме неё, не знал, сколько тяжестей она несёт.

День шёл своим чередом. Переговоры с японцами, обед с юристами, звонок от Левона («Даш, они всё-таки опубликовали фото, но мы решили не комментировать, спасибо тебе, ты была права»), ещё одни переговоры, потом совещание по бюджету. Даша присутствовала на всём, конспектировала, раздавала указания, проверяла документы. Вова был как всегда: громкий, обаятельный, убедительный. Ни разу не посмотрел на неё так, чтобы она поняла: он помнит утренний разговор. Ни разу не упомянул. Будто его и не было.

В три часа дня Даша обнаружила в мусорном ведре у своего стола ярко-красный бюстгальтер. Она не знала, откуда

он взялся: может, со вчерашней вечеринки, может, с позавчерашней. Она давно перестала удивляться. Просто достала из-под стола специальный пакет, в который складывала такие «сувениры», и бросила его туда. Потом завязала пакет и выбросила в большой мусорный бак у выхода. Руки немного дрожали, но лицо оставалось спокойным.

Людмила, которая видела это из-за своего стола на ресепшн, тихо сказала:

— Дарья Сергеевна, может, вам лучше отдохнуть? Вы бледная.

— Спасибо, Люда. Я в порядке.

— Вы всегда говорите «в порядке».

— Потому что это правда. Я в порядке. Я в порядке. Я в порядке.

Людмила посмотрела на неё тем взглядом, которым смотрят на человека, который говорит «в порядке», но все видят, что это не так. Но не стала настаивать. Она знала Дашу достаточно хорошо, чтобы понимать: давить на неё бесполезно. Она сама всё решит. Когда решит.

Остаток дня прошёл спокойно. Вова уехал в четыре, бросив на ходу: «Даш, завтра к десяти, у нас встреча с инвесторами из Лондона. Подготовь материалы». Даша кивнула. Он ушёл, и в офисе стало тише. Она доделала отчёт, разослала письма, проверила график на завтра и около шести начала собираться.

В кабинете горела тёплая лампа на столе, за окном тем-

нело. Москва зажигала огни — один за другим, будто ставила точки в конце длинных, утомлённых предложений. Даша стояла у окна и смотрела на город, который засыпал и просыпался одновременно: одни ехали домой, другие — на работу, третьи просто ехали, потому что надо было куда-то ехать.

Она достала из шкатулки сердолик, покатила в ладони. Камень был тёплым. Она подумала: «Завтра я снова приду в шесть тридцать. И снова скажу. И снова он не услышит. И снова я буду держать. И снова...»

Нет. Не снова.

Даша сжала камень в кулаке, потом разжала пальцы и посмотрела на него. Оранжево-розовый, гладкий, с одной стороны — чуть шершавый, будто с трещинкой. Маленький, но тёплый. Как надежда, которую носишь в кармане, не доставая, потому что боишься, что она остынет.

Она положила камень обратно, закрыла шкатулку, выключила монитор, надела пальто. В коридоре было тихо: большинство сотрудников уже разошлись, только у ресепшн Людмила собирала свои вещи, готовясь уходить.

— Спокойной ночи, Люда.

— Спокойной ночи, Дарья Сергеевна. И... вы бы поспали сегодня. Правда.

— Постараюсь.

Даша шла по пустому коридору к лифтам, и её шаги гулко отдавались в тишине. День был длинным, но спокойным. Степенным, как она хотела. Без бурь, без криков, без драмы.

Просто рабочий день, один из тысяч. Она думала, что завтра будет так же: она придёт пораньше, посидит в тишине, приготовится к разговору, и, может быть, в этот раз он услышит.

Лифт позвонил, двери открылись. Даша сделала шаг вперёд.

И в этот момент из-за двери входной группы, у самого ресепшн, раздался звук, от которого она остановилась как вкопанная. Голос. Женский. Громкий. Пронзительный. Такой, от которого вздрагиваешь и оборачиваешься, потому что в нём — не просто злость, а что-то большее: отчаяние, перешедшее в ярость, или ярость, прикрывающая отчаяние. Голос нарастал, приближался, и в нём звучала такая сила, будто кто-то ворвался в их тихий, размеренный мир, не постучавшись.

Людмила, уже надевшая пальто, замерла у ресепшн. Её рука зависла в воздухе — она тянулась к выключателю. Лицо у неё стало таким, каким Даша никогда его не видела: не испуганным, а настороженным, как у человека, который слышит сигнал тревоги и не знает ещё, откуда он.

Даша обернулась. В коридоре, у входа на этаж, стояла женщина, которую она никогда раньше не видела. Высокая, в тёмном пальто, с волосами, которые когда-то были уложены, а теперь растрепались, будто она бежала. Лицо красивое, но искажённое — от злости, от боли, от чего-то ещё, что Даша не успела разобрать. Женщина не видела Дашу, не видела Людмилу, не видела никого. Она просто шла вперёд, и её го-

лос заполнял коридор, как вода заполняет пустую комнату: неотвратно, быстро, не оставляя места ни для чего другого.

Даша стояла у лифта, и двери уже начали закрываться. Она могла войти в кабину, нажать кнопку, уехать. Уехать домой, лечь спать, завтра прийти пораньше и снова попытаться сказать Вове то, что он не захотел услышать утром.

Но что-то заставило её остановиться. Положить руку на закрывающуюся дверь лифта. Сделать шаг назад. Развернуться.

День, который начался так спокойно и степенно, только что перестал быть таким. И Даша, которая думала, что самое тяжёлое в её жизни — это заявление об увольнении, которое никто не прочитал, ещё не знала, что настоящее — только начинается.

Глава 2. Когда мир становиться слишком

Вова пришёл в восемь тридцать, как всегда, — будто принёс с собой немного ветра. Бросил Людмиле: «Доброе, кофе мне, пожалуйста», кивнул Даше через открытую дверь и скрылся в своём кабинете. Даша слышала, как за ним щёлкнул замок, — он всегда запирался на первые полчаса, «чтобы войти в режим», как он это называл. На самом деле просто листал новости и пил кофе, но никому не говорил.

Даша сидела за своим столом и работала. Утро было обычным: отчёт по третьему кварталу, график встреч, уточнения по дубайской поездке. За окном Москва привычно гудела, солнце стояло высоко, и в его свете здание напротив казалось золотым. Ничто не предвещало.

Маргарита появилась в десять сорок.

Даша услышала её раньше, чем увидела. Сначала — звук каблучков по мрамору холла: быстрый, сердитый, как телеграфная морзянка. Потом — голос, высокий, звенящий, с той особенной интонацией, которая бывает у людей, привыкших к вниманию и не просящих, а требующих его. И наконец — тихий, почти беззвучный шорох маленьких ног, которые семенили за каблучками, стараясь не отставать.

— Мне нужен Соловьёв! Сейчас! Не через пять минут, не

после вашего кофе, а сейчас!

Людмила подняла голову от монитора. За три года на этом посту она повидала многое: бывшие жёны, обманутые инвесторы, журналисты с камерами, конкуренты с исками. Но голос, который сейчас заполнял холл, был другим. Не злостью — цельностью. Человек с таким голосом пришёл не жаловаться. Он пришёл брать.

— Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. У вас есть запись?

— Какая запись?! Вы что, не понимаете, кто я?! Я — Маргарита Левицкая! Я...

— Маргарита Сергеевна, я вас помню, — Людмила произнесла это ровно, без вопроса, как констатируя факт. Она действительно помнила — фотографии в светской хронике, вечеринки, бриллианты. — Но без записи я не могу вас пропустить. Владимир Николаевич на месте, но он просил не беспокоить до обеда.

— Не беспокоить?! — Рита шагнула к стойке, и от неё пахло дорогими духами и чем-то ещё — отчаянием, которое она пыталась упаковать в гнев, как упаковывают осколки в бумагу, чтобы не звенели. — Вы что, не слышите? Мне нужно к нему! Прямо сейчас! И не вам решать, кого пускать, а кого нет. Вы — секретарша. Ваша работа — кофе и календарь. А я...

— Я прошу вас не повышать голос, — Людмила не отступила. Она стояла за стойкой, высокая, спокойная, и в её го-

лосе не было ни страха, ни уступки. — В здании работают люди. Если вы хотите встретиться с Владимиром Николаевичем, я могу записать вас на...

— Записать?! Меня?! Да он сам...

— Маргарита, хватит.

Даша вышла из коридора и встала рядом с Людмилой. Не между ней и Ритой — именно рядом, плечом к плечу, как встают рядом с теми, кого защищают. Голос её был тихим, но в этой тишине было столько веса, что Рита на секунду замолчала.

— Людмила делает свою работу. И делает её хорошо. Если у тебя есть к Владимиру дело — я провожу тебя. Но орать на людей, которые ни в чём не виноваты, не нужно.

Рита повернулась к ней, и Даша впервые увидела её вблизи. Маргарита Левицкая была красивой — не той тихой красотой, которая греет, а яркой, режущей, от которой трудно отвести глаза. Тёмные волосы, уложенные в идеальную волну. Скулы, очерченные так, будто их рисовал художник. Зелёные глаза, в которых сейчас полыхал огонь, но если присмотреться, за огнём стояла тень — усталости, возраста, страха. Ей было тридцать шесть, может, чуть больше, и она выглядела так, как выглядят женщины, которые всю жизнь держали форму и вдруг почувствовали, что форма начинает сдавать.

— А, вот и ты, — Рита усмехнулась, но усмешка вышла кривой, как дверь, которую повело. — Помощница. Та са-

мая, которая всё знает и ничего не говорит. Идеальная. Вову от всего бережёшь, как мамочка.

— Я не берегу. Я работаю. И прямо сейчас я предлагаю тебе пройти к нему, пока он ещё на месте. Или ты хочешь продолжать ругаться с охраной?

Рита посмотрела на неё, потом на Людмилу, потом снова на Дашу. И в её взгляде мелькнуло что-то, чего Даша не ожидала: не злость, не высокомерие, а отчаянная, почти детская решимость человека, который знает, что у него один выстрел.

— Ладно. Веди.

Даша кивнула Людмиле. Та чуть прикрыла глаза — мол, «спасибо, что пришла» — и вернулась к своему монитору. Даша повела Маргариту по коридору. И только тогда, когда они свернули за угол, увидела то, что стояло позади Риты всё это время.

Маленькая девочка. Лет семи. Может, чуть меньше. Она стояла у стены, прижавшись к ней спиной, как будто хотела стать частью этой стены, стать невидимой, исчезнуть. В руках она держала потрёпанного плюшевого зайца — серого, с оторванным ухом, которое было пришито грубыми нитками, будто кто-то пытался его спасти, но не знал как. Девочка прижимала зайца к себе так крепко, что пальцы побелели. И смотрела не на мать, не на Дашу, не на Людмилу — а в пол. С тем особенным, слишком взрослым взглядом, который бывает у детей, давно научившихся не вмешиваться,

когда взрослые кричат. Взглядом, который говорит: «Я тут, но меня нет. Я жду, когда это закончится».

Даша замерла. Она не ожидала — не ребёнка, не этого взгляда, не зайца с пришитым ухом. Рита не говорила о девочке, не представляла её, не объяснила. Просто стояла и орала, а ребёнок стоял позади, как вещь, которую забыли у входа.

— Это... — начала Даша, но Рита уже шла вперёд, и Даша не успела спросить.

Они прошли через кабинет Даши. Даша на секунду задержалась у своего стола, сорвала взгляд с девочки, постучала в дверь Вовинового кабинета.

— Да? — донеслось из-за двери.

— Вова, у тебя посетитель. Срочно.

— Даш, я просил до обеда...

— Вова. Срочно.

Пауза. Потом щёлкнул замок, и дверь открылась. Вова стоял в проёме, с планшетом в руке, в расстёгнутом пиджаке, с той полуулыбкой, которая означала «я недоволен, но показываю это мягко». Увидел Маргариту — улыбка погасла.

— Рит? Ты... что ты тут...

— Здравствуй, Вова, — Рита вошла, не дожидаясь приглашения. Её каблук прошлись по Вовиному ковру, как солдаты по мостовой. — Мы давно не виделись. Почти восемь лет, да? Ты тогда так красиво ушёл. Букет на пороге, записка «извини, так сложилось». Я до сих пор храню, если

тебе интересно.

— Рит, если ты пришла из-за того букета...

— Я пришла не из-за букета. — Рита остановилась посреди его кабинета, повернулась, и в её глазах полыхнул тот самый огонь, который Даша видела в холле. — Я пришла из-за неё.

Она отступила в сторону, и за её спиной оказалась Полина. Девочка стояла в дверях, маленькая, тихая, с зайцем в руках. Она не вошла сама — Рита буквально втолкнула её в кабинет, мягко, но решительно, как выставляют на показ товар.

— Вот. Твоя дочь. Ей семь.

Вова замер. Планшет в его руке дрогнул, и он машинально положил его на стол, будто руки перестали держать. Он смотрел на Полину, потом на Маргариту, потом снова на Полину, и на его лице медленно, как рассвет, проступало понимание, которое он не мог остановить. Девочка была похожа на него — не разительно, не как копия, но в линиях лица, в тёмных глазах, в том, как она стояла чуть ссутулившись, спрятав подбородок, — было что-то неуловимо его. То, что нельзя подделать. То, что нельзя не узнать, если знаешь, куда смотреть.

— Что? — его голос прозвучал хрипло, как будто кто-то сжал ему горло. — Рит, это... это шутка?

— Шутка?! — Рита рассмеялась, но смех был злой, как осколок. — Ты думаешь, я бы привезла ребёнка через полго-

рода, чтобы пошутить? Её зовут Полина. Полина Соловьёва. Твоя дочь. Родилась через 7 с половиной месяцев после того, как ты «так сложилось». Помнишь? Конечно, помнишь. Ты же помнишь все свои расставания. У тебя их немного, но каждый — с букетом.

Вова открыл рот, закрыл, снова открыл. Он выглядел так, будто у него выбили почву из-под ног, а он ещё не успел понять, что падает.

— Рит, я не... я не знал. Ты не говорила. Ты...

— Не говорила?! А когда я должна была говорить? Ты ушёл. Просто ушёл. Телефон сменил, адрес сменил, будто меня не было. Я звонила — недоступен. Писала — не отвечает. Приходила в твою старую квартиру — уже другие люди. Ты исчез, Вова. Как фокусник. Раз — и нету.

— Но ребёнок... Если бы я знал...

— А что бы ты сделал, если бы знал? Купил бы ей яхту? Отправил бы в швейцарскую школу? Припёр бы сюда, к себе в кабинет, как сейчас? Нет. Ты бы сделал то же самое, что и сейчас: растерялся бы и попросил неделю. Поэтому я и не стала говорить. Но сейчас — другая ситуация.

Вова медленно опустился в кресло. Не сел — именно опустился, как будто ноги перестали держать. Он смотрел на Полину, и в его глазах было то, что Даша видела впервые за пять лет: не растерянность, не гнев, а боль. Настоящая, неприкрытая, которую он не успел спрятать за улыбкой.

А Рита продолжала. И с каждым словом её голос стано-

вился жёстче, слова — отточеннее, как будто она долго репетировала эту сцену перед зеркалом.

— Знаешь, что мне стоило растить её одной? Без копеечки? Без помощи? Я не сидела на месте, Вова. Я работала. Моделировала, снималась, ездила по приказам. Но модельный мир, он... он не вечный. Девочки в двадцать получают всё. В тридцать — меньше. В тридцать пять — уже «давайте перезвоним». А мне тридцать шесть, и агенты говорят мне в лицо: «Маргарита, вы прекрасны, но рынок хочет молодых». Ты понимаешь? Меня списали. Как вещь, у которой вышел срок годности.

Она говорила это с тем особенным бесстрашием, которое бывает у людей, которым уже нечего терять. Не жалуясь, не плача, а констатируя, как врач констатирует диагноз. И от этой сухости было страшнее, чем от слёз.

— И я нашла человека. Наконец. После всех этих лет одна. Хороший человек. Обеспеченный. Готовый быть рядом. Хотел семью, детей, нормальную жизнь. И всё было хорошо, Вова. Всё наконец-то было хорошо. А потом он узнал про Полину. Узнал, что у меня есть дочь от Владимира Соловьёва, и что Соловьёв о ней не знает, не платит, не участвует. И знаешь, что он сказал? «Я не готов быть отцом чужого ребёнка». И ушёл. Как ты. Точно так же. Букета не оставил, но эффект тот же.

Даша стояла у двери и слушала. Она видела, как Рита говорит, и видела, что стоит за её словами. Не материнская

боль, не забота о дочери, не стремление дать ей лучшее. За словами стоял расчёт. Рита пришла не за справедливостью, а за компенсацией. За потерянным женихом, за ушедшими контрактами, за годами, которые, как она считала, были украдены. И Полина — Полина была аргументом. Не ребёнком, а доказательством. Чем-то, что нельзя оспорить, нельзя отвергнуть, нельзя проигнорировать.

— Десять миллионов, — сказала Рита, и голос её стал ровным, как линия на графике. — Десять миллионов долларов. Моральная компенсация. За семь лет, за дочь, которую ты не растил, за мою карьеру, которая закончилась раньше, чем должна была, за человека, который ушёл, потому что ты — её отец, и за то, что мне теперь снова начинать с нуля. Десять миллионов — и мы уедем. Я и Полина. Ты нас больше не увидишь. Никто не увидит. Мы исчезнем, как ты исчез. Чисто, тихо, навсегда.

Вова смотрел на неё, и в его глазах медленно, как тлеющий огонёк, проступало понимание. Не того, что Рита говорит, а того, что стоит за этим. Он был плейбоем, но не дураком. Он видел сделки, слышал ультиматумы, знал, когда ему предлагают покупку, а когда — шантаж.

— Ты пришла торговать ребёнком, — тихо сказал он, и голос его был не злым, а усталым. — Рит, ты понимаешь, что ты сейчас делаешь?

— Я пришла получить то, что мне причитается! — Рита ударила ладонью по столу, и звук был таким резким, что По-

лина вздрогнула и вжала голову в плечи. — Не смей говорить, что я торгую! Я семь лет тянула это на себе! Семь лет! Без выходных, без больничных, без...

— Без десяти миллионов, да? — Вова встал. — Рит, я не знал о ней. Не знал. Ты сама это сказала. А теперь ты припёрлась ко мне в офис, притащила ребёнка, которого я впервые вижу, и требуешь десять миллионов? Это не компенсация. Это выкуп.

— Называй как хочешь! Мне плевать, как ты это назовёшь! Плати — или я иду в суд. И поверь, журналисты будут счастливы узнать, что у Владимира Соловьёва есть дочь, о которой он не знал. Или не хотел знать. Это уже звучит по-разному, Вова. По-разному звучит, когда читают.

Вова побледнел. Не от страха перед журналистами, а от того, что Рита говорила про дочь как об оружии. Как о рычаге, который нужно нажать, чтобы открылась дверь с деньгами. Он посмотрел на Полину, и Даша увидела, как его лицо меняется: злость на Риту боролась с чем-то другим, чем-то, что он ещё не умел называть. С чувством, которое возникает, когда впервые видишь своего ребёнка и понимаешь, что это не абстракция, не строчка в иске, а живой, маленький, испуганный человек, который стоит посреди чужого кабинета и сжимает зайца так, будто он единственное живое существо на земле.

А Рита не видела этого. Или не хотела видеть. Она продолжала:

— Ты даже не представляешь, что я пережила! Я ходила на кастинги с ребёнком на руках! Мне отказывали, потому что я «мама», а не «девочка»! Я теряла контракты, потому что у меня дочь, а не карьера! Я...

— Мама! — голос Полины прорезал комнату, как трещина в стекле.

Все замерли. Рита — с открытым ртом, не договорив. Вова — наполовину встав из кресла. Даша — у двери.

Полина стояла посреди кабинета, маленькая, с мокрыми глазами, с зайцем, прижатым к груди, и её нижняя губа дрожала так, что слова едва складывались:

— Мама, не надо. Пожалуйста, не надо. Я не хочу...

Она не договорила. Не потому, что не знала, что сказать, а потому что слёзы наконец хлынули, и она уткнулась лицом в зайца, и её маленькие плечи затряслись от рыданий, которые она изо всех сил пыталась удержать, но уже не могла.

Рита на секунду замерла. На секунду — и только на секунду — в её лице проступило что-то настоящее, не расчётливое, не светское, а материнское. Но потом она сглотнула, выпрямилась и сказала:

— Полина, всё хорошо. Мама просто разговаривает. Подожди немного.

«Подожди немного». Даша слышала, как эти слова легли на девочку, как холодное одеяло, и Полина снова стала маленькой и тихой, снова спряталась за зайцем, снова исчезла. Но слёзы текли, и она не могла их остановить.

Вова смотрел на это, и Даша видела, как внутри него что-то ломается. Не от Ритиных слов, не от её угроз, а от этой картины: маленькая девочка, которая плачет в чужом кабинете, а её мать даже не обнимает её.

— Рит, — его голос стал тихим, почти хриплым. — Десять миллионов — это...

— Это меньше, чем ты тратишь на одну вечеринку! — перебила она. — Меньше, чем та яхта, которую ты купил весной! Не смей говорить мне, что для тебя это много!

— Дело не в сумме. Дело в том, что ты...

— Что я — торгую? Да, торгую! Потому что у меня больше ничего нет! Ты забрал у меня годы жизни, мою молодость, мою карьеру, и теперь хочешь, чтобы я ушла с чем? С извинениями? С «извини, так сложилось»? Нет, Вова. На этот раз не сложится.

Даша стояла у двери и смотрела, как двое взрослых кричат друг на друга, а между ними стоит маленькая девочка, которая давно перестала слушать слова и слышит только тона. Тон матери — жёсткий, наступательный, от которого сжимаются кулаки. Тон отца — растерянный, ищущий, от которого опускаются руки. И в этом шуме Полина была как щепка в буре: её несло, крутило, и она не знала, за что держаться.

Даша сделала шаг вперёд. Потом ещё один. Потом присела перед Полиной на корточки, так что их глаза оказались на одном уровне, и тихо, почти шёпотом, сказала:

— Полина, пойдём со мной. Тут очень шумно, а у меня в кабинете есть кое-что поинтереснее. Хочешь посмотреть?

Девочка подняла на неё глаза — большие, тёмные, мокрые, и в них читался вопрос, который задают все дети, которым слишком рано пришлось стать взрослыми: «Ты правда видишь меня? Не маму, не проблему, а меня?» Даша протянула руку — не настойчиво, а просто положила ладонь перед ней, как кладут корм перед пугливым зверьком: бери, если захочешь.

Полина посмотрела на мать. Рита уже не обращала на неё внимания — она снова говорила, и её голос набирал обороты, как волна, которая идёт к берегу. Полина посмотрела на Дашу, потом на её протянутую руку, и осторожно, как будто боялась обжечься, положила в неё свои маленькие пальцы.

Они были холодными. И мокрыми от слёз.

Даша встала, не выпуская её руки, и повела к двери. Рита, увлечённая спором, даже не обернулась. Вова на секунду встретился с Дашей взглядом, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на благодарность, но он не сказал ни слова, потому что Рита уже ткнула пальцем в его сторону и заговорила о суде.

Даша вывела Полину через дверь в свой кабинет и закрыла её за собой. Звуки ссоры стали приглушёнными, далёкими, как шум дождя за окном. Здесь, в её маленьком мире, было тихо. Горела одна лампа на столе, за окном всё та же Москва, но в полумраке кабинет казался не рабочим поме-

щением, а чем-то вроде убежища.

Полина стояла у двери, не отпуская зайца. Она уже не плакала, но следы слёз остались — две мокрые дорожки на щеках, которые она не вытирала. Даша не стала вытирать их за неё, не стала обнимать без спроса. Она выдвела ящик стола, достала салфетки, положила рядом с девочкой. Полина посмотрела на салфетки, потом на Дашу, и взяла одну. Вытерла лицо — аккуратно, старательно, как делают дети, которые привыкли справляться сами.

Даша села на край стола, давая Полине пространство. Не подходила слишком близко, не трогала, не спрашивала «что случилось», потому что знала: случилось то, что случается с каждым ребёнком, которого используют как аргумент в чужом споре. Его делают невидимым. И когда кто-то наконец видит его, он не знает, как с этим быть.

— Знаешь, что тут есть? — сказала Даша, кивнув на полку, где стоял небольшой стеклянный ящик. — Камни. Я их собираю.

Полина не отреагировала. Стояла, смотрела в пол, сжимала зайца. Но Даша видела, что она слушает, по тому, как чуть повернулась голова в сторону полки, по тому, как взгляд на секунду скользнул в сторону ящика и вернулся обратно.

— Самые разные. Со всего света. Вот, посмотри. — Даша сняла ящик с полки и поставила на стол, ближе к Полине. Крышка была стеклянной, и камни были видны: гладкие, шершавые, полупрозрачные, тёмные, с прожилками, застыв-

шие истории, каждый со своим характером.

Полина подняла глаза. Сначала неуверенно, как смотрят на что-то новое, что может оказаться опасным. Потом — с интересом, который загорался медленно, как спичка в ветреную погоду: раз, другой, третий, и наконец занялся.

— Это... настоящие?

— Настоящие. Каждый из какого-то места. Вот этот я нашла у моря. Он гладкий, потому что вода долго его катала по дну. А этот из гор, он шершавый, потому что его обдувал ветер.

Полина сделала шаг к столу. Потом ещё один. Положила зайца на край стола, впервые выпустив его из рук. Осторожно, как будто боялась, что камни могут быть хрупкими, протянула палец и коснулась ближайшего, тёмного, с белыми прожилками, похожего на зимнее небо в снежную ночь.

— Он тёплый, — тихо сказала она, и в её голосе прозвучало что-то похожее на удивление.

— Да. Иногда кажется, что камни холодные, но если подержать в руке, они становятся тёплыми. Как будто делятся своим теплом. Или забирают твоё, кто как говорит.

Полина осторожно взяла камень в ладонь. Он был небольшой, поместился в детской руке, как яйцо. Она подержала его, покатила между ладонями, и на её лице проступило выражение, которое Даша узнала сразу: сосредоточенность ребёнка, который впервые за долгое время занят чем-то, что не связано с криками, ссорами и взрослыми проблемами.

— А этот? — Полина показала на другой, оранжево-розовый, полупрозрачный, с одной стороны гладкий, с другой чуть шершавый.

— Это сердолик. Мой любимый. Я нашла его на берегу, давно. Он похож на закат, если посмотреть на свет.

Полина подняла сердолик к лампе. Камень засветился изнутри, тёплым, медовым светом, и в нём проступили тонкие линии, как прожилки на листе. Девочка смотрела на него так, будто видела не камень, а что-то бóльшее, что-то, что она давно искала и не могла найти.

— Красивый, — прошептала она.

— Знаешь, у меня есть мечта, — вдруг тихо сказала Полина, не поднимая глаз от камня. Она говорила осторожно, будто пробовала каждое слово на вкус, прежде чем выпустить. — Я хочу увидеть Гранд-Каньон.

Даша чуть наклонила голову, но не стала перебивать. Ждала.

— Я смотрела картинки в интернете. Там камни огромные, красные, оранжевые, и они все слоями, как... как торт. Или как книга. И каждый слой это время, понимаешь? Миллионы лет. И они все помнят. Не как люди, люди забывают. А камни помнят всё.

Она говорила тихо, почти шёпотом, но в этом шёпоте было столько силы, что Даша замерла. Эта девочка, маленькая, испуганная, с мокрыми щеками и потрёпанным зайцем, говорила о чём-то очень важном, важнее денег, важнее ссор,

важнее всех взрослых проблем, которые кипели за стеной.

— Я хочу туда, чтобы... — Полина замялась, ища слово, — чтобы послушать их. Камни. Я думаю, если прикоснуться к ним, можно услышать, что они помнят.

Даша молчала. Не потому, что не знала, что сказать, а потому что понимала: этот момент слишком хрупкий, чтобы разрушить его словами. Она просто сидела рядом и смотрела на девочку, которая держала в руках сердолик и говорила о камнях как о живых.

— Знаешь, — наконец сказала Даша, — мечты это тоже как камни. Они могут быть маленькими, но если держать их в себе, они согревают. И иногда даже самые большие мечты начинают сбываться с совсем крошечного шага.

Полина подняла глаза, впервые за весь разговор посмотрела на Дашу прямо. В её взгляде не было ни настороженности, ни недоверия, только вопрос, тихий и осторожный: «Ты правда так думаешь? Или просто говоришь, как взрослые?»

— Ты правда думаешь, что можно?

— Думаю, что можно попробовать. Главное не бояться о ней говорить. Ты не боишься?

Полина покачала головой. Потом опустила взгляд на сердолик, который всё ещё держала в ладонях, и тихо сказала:

— Мама говорит, что камни — глупость. Что от них толку нет. А я... я прячу их. Под кроватью, в коробке. Чтобы она не выбросила.

Даша почувствовала, как в горле встал ком. Она сглотну-

ла, сдержала слёзы, не потому, что не хотела плакать, а потому, что знала: этот ребёнок не нуждается в чужих слезах. Он нуждается в ком-то, кто будет рядом и не скажет «глупость».

— Тогда пусть этот будет твоим, — Даша осторожно взяла сердолик из рук Полины и положила его обратно в ладонь девочки, но теперь как подарок, не как чужую вещь. — От меня. Он тёплый. И будет греть, когда станет холодно.

Полина смотрела на камень в своей руке. Потом, медленно, как будто принимая решение, от которого нельзя отступить, сжала его в кулаке, крепко, уверенно, как держат не подарки, а что-то большее. Что-то, что нельзя отнять.

— Спасибо, — прошептала она. И это «спасибо» было не вежливостью, а чем-то большим: первым тихим «да», которое она сказала человеку, которого знала двадцать минут.

Где-то за стеной всё ещё звучали голоса, приглушённые, но настойчивые, как дождь, который не собирается заканчиваться. Но здесь, в кабинете Даши, среди камней и мягкого света, маленькая Полина впервые за долгое время чувствовала, что рядом есть кто-то, кто не кричит, не торопит, не требует, а просто тихо сидит и даёт ей время.

Даша не знала, что этот маленький разговор у полки с камнями станет первым шагом к чему-то большему. Что через несколько дней эта девочка поставит условие, которое изменит жизни всех троих. Что сердолик, который сейчас лежит в детской ладони, станет символом чего-то, чему они ещё не знают названия.

Но она знала одно: сегодня мир стал слишком громким, и в этом шуме кто-то должен был стать тишиной. И она решила: пусть это буду я.

За окном Москва продолжала жить, не обращая внимания на то, что в одном кабинете на Садовом кольце маленькая девочка сжала в руке тёплый камень и впервые за долгое время перестала бояться. А в соседнем кабинете её мать и человек, который оказался её отцом, всё ещё кричали друг на друга, не зная, что за стеной уже родилось что-то, что сильнее всех их споров.

Глава 3. Результат

Голоса за стеной стихли не сразу. Сначала стали тише — будто оба выдохлись, будто крик, который держал их на пределе, начал сдавать, как падает температура у лихорадящего: не резко, а полегрону, градус за градусом. Потом наступила пауза — длинная, тяжёлая, наполненная тем особенным молчанием

Голоса за стеной стихли не сразу. Сначала стали тише — будто оба выдохлись, будто крик, который держал их на пределе, начал сдавать, как падает температура у лихорадящего: не резко, а полегрону, градус за градусом. Потом наступила пауза — длинная, тяжёлая, наполненная тем особенным молчанием, которое бывает после ссоры, когда оба сказали всё, но никто не услышал.

Даша сидела на краю стола, Полина стояла рядом, держа сердолик у лампы. Оранжево-розовый свет проникал сквозь камень, и девочка смотрела на него так, будто в этом свечении было что-то, что она давно искала и наконец нашла. Заяц лежал на краю стола — впервые за весь день выпущенный из рук, и Даша подумала, что это, пожалуй, первый настоящий знак доверия: Полина отпустила единственное, за что держалась.

Потом стукнула дверь. Шаги — быстрые, сердитые, каблуки по ковролину. Ритин голос, уже из коридора, бросив-

ший кому-то — видимо, Людмиле: «Я не уходила. Я просто вышла подышать». И снова шаги, но уже в другую сторону — к кабинету Даши.

Дверь открылась без стука. Рита вошла — резко, как открывают, когда считают, что стучать для слабых. Её взгляд метнулся к Полине, к камню в её руках, к Даше, сидящей на краю стола, и в нём мелькнуло что-то, чего Даша не успела разобрать — может, раздражение, может, ревность, может, просто усталость человека, который только что истратил весь свой порох и теперь не знал, что делать с оставшимся дымом.

— Полина, выходим. Мы уходим.

Девочка вздрогнула. Машинально спрятала сердолик за спину, будто его могли отнять. Заяц остался на краю стола — она забыла его, и Даша поняла, что это не забывчивость, а растерянность: Полина не знала, что делать дальше. Только что ей подарили тёплый камень и сказали «он будет греть, когда станет холодно», и теперь мир, который на секунду стал безопасным, снова дёрнул её за рукав и сказал: «Пойдём».

— Маргарита Сергеевна, может, не стоит так резко... — начала Даша, но Рита уже не слушала.

— Я сказала — выходим. Это не просьба. Мы пришли, я сказала что хотела, теперь уходим.

Полина медленно, не глядя на мать, переложила сердолик в карман куртки. Потом взяла зайца. Прижала к себе. Потом

посмотрела на Дашу — одним из тех взглядов, которые дети дарят тем, кому доверяют, — коротких, но ёмких, будто в секунду вкладывают в него всё: «спасибо», «не хочу уходить», «ты ещё тут?»

— Спасибо, — прошептала она.

Даша кивнула. Хотела сказать «приходи ещё», но поняла, что это звучит как прощание, а прощаться не хотелось. Поэтому просто сказала:

— Сердолик пусть будет у тебя. Он твой.

Полина сжала камень в кармане — Даша видела, как маленькая рука сквозь ткань куртки обхватила его, — и они с Ритой вышли. Даша слышала, как их шаги удаляются по коридору: каблучки Риты, твёрдые, уверенные, будто каждый шаг — утверждение, и тихое шарканье Полины, мелкое, старающееся не привлекать внимания. Одна шла, потому что знала куда. Другая — потому что некуда было деться.

Даша осталась в кабинете одна. Посмотрела на шкатулку, где раньше лежал сердолик. Пусто. Маленькая впадинка на бархатной подкладке — единственное доказательство того, что камень был. Даша провела пальцем по этой впадинке и подумала: «Вот так выглядит забота. Маленькая, тёплая, незаметная. Но если её забрать — остаётся ямка».

Она не успела додумать. Из-за стены — тишина, потом голос Вовы, глухой, приглушённый, будто он говорил в подушку. Потом снова тишина. Потом стук — не сердитый, не громкий, а тихий, как стучат, когда просят, а не требуют.

— Даш, — его голос, но другой. Не «доброе утро, Даш», брошенное на ходу. Не «Даш, мне нужен отчёт». Просто — «Даш». Одно слово, и в нём — просьба, которую он не умел сформулировать.

Даша встала, разгладила юбку и пошла.

В кабинете Вовы было темно — он не включил верхний свет, только настольную лампу, и в её свете его лицо казалось вырезанным из чего-то твёрдого, будто из камня. Он стоял у окна, спиной к двери, и не обернулся, когда она вошла. Просто сказал:

— Закрой дверь.

Даша закрыла. Села в кресло напротив стола. Ждала.

Он молчал. Долго. Не по-соловьёвски — обычно его молчание было набором воздуха перед следующим монологом, энергичным, шумным, заполненным словами. Это молчание было другим. Тихим. Пустым. Будто внутри него что-то обвалилось, и он ещё не знал, что осталось на месте, а что — нет.

Даша смотрела на его спину и думала: за пять лет она видела его разным — злым, обаятельным, пьяным, трезвым, напуганным, уверенным. Но таким — никогда. Он стоял у окна, и плечи его были опущены, и обычно прямая спина чуть ссутулилась, и впервые Даша подумала, что за дорогим костюмом, за улыбкой, за яхтами и вечеринками стоит человек, который не умеет быть нужным. Который знает, как купить, но не знает, как принадлежать. Который всю жизнь

строил стену из денег и уверенности, а теперь стена рухнула, и за ней — ничего. Только он. Голый, растерянный, испуганный.

— Я не могу так, — наконец сказал он, не оборачиваясь. — Я не могу просто... отпустить её. Ты понимаешь? Она моя дочь. Моя. А эта... Маргарита... она пришла, швырнула мне ребёнком в лицо, как уликой, потребовала десять миллионов и ушла. И я стою тут, в этом кабинете, в этом костюме за пять тысяч, и не знаю, что делать. Я знаю, как закрыть сделку. Знаю, как уговорить инвестора. Знаю, какой кофе заказать японцам. Но я не знаю, как быть отцом. Даже не отцом — я не знаю, как быть человеком рядом с этим ребёнком.

Даша слушала. Не перебивала, не кивала автоматически, не делала пометок. Просто сидела и слушала, как человек, который умеет слушать не ушами, а всем телом.

— Мне нужен тест, — сказал он, и голос его стал жёстче, будто он цеплялся за деловую конкретику, как за спасательный круг. — Тест на отцовство. Сегодня. Сейчас. Я не буду ничего решать, пока не увижу результат. Чёрный по белому.

— Ты сомневаешься? — тихо спросила Даша.

Он наконец обернулся. В полумраке его лицо казалось старше, чем обычно, и впервые за пять лет Даша увидела в его глазах не ту полуулыбку, не ту браваду, а что-то совсем другое: страх. Не страх перед Ритой, не страх перед журналистами — страх перед самим собой. Перед тем, что он может оказаться не тем, кем хотел быть.

— Нет. Я не сомневаюсь. Она похожа на меня. Глаза, подбородок, эта... привычка молчать, когда обидно. Я увидел это утром, когда Рита втолкнула её в кабинет. Но мне нужно знать. Не для неё. Не для Риты. Для себя. Мне нужно увидеть это на бумаге, чтобы поверить, что это не сон. Что у меня есть дочь. Что я не просто плейбой в дорогом костюме, который не помнит, с кем спал восемь лет назад, а... — он замолчал, и Даша видела, как он борется со словом, которое не мог произнести, — отец.

«Отец». Он сказал это слово так, будто оно обожгло ему язык. Будто впервые в жизни произнёс его по отношению к себе. И Даша поняла: он не сомневался в отцовстве — он сомневался в себе. Ему нужен был документ, бумага, печать — что-то осязаемое, что превратило бы хаос в факт. Он привык жить в мире фактов: цифры, контракты, подписи. Там, где нет фактов, он терялся. А ребёнок — это не факт. Это живой, маленький, испуганный человек, которого нельзя подшить к балансу.

— Хорошо, — сказала Даша. — Я найду клинику. Сегодня.

— Сегодня?

— Ты сказал «сейчас». Значит, сегодня.

Вова кивнул. Потом помолчал и добавил — тише, будто стесняясь собственных слов:

— Даш, а ты... поедешь со мной?

Она хотела сказать «нет». Хотела сказать: «Это не моя ра-

бота. Я подала заявление. Ты не прочитал. Я ухожу». Но вместо этого сказала:

— Да.

И подумала: «Опять. Опять я говорю „да“, когда должна сказать „нет“. Опять я иду туда, куда не должна идти. Опять я становлюсь рядом, когда мне давно пора уйти». Но ноги уже несли её к двери, а руки уже доставали телефон, чтобы искать клинику, и Даша знала, что это — та самая привычка, от которой она пыталась убежать пять лет. Не работа. Не долг. Что-то другое, что заставляло её вставать, когда кто-то рядом падал.

Вова позвонил Рите сам — сухо, по-деловому, тем голосом, которым обычно договаривался о встречах с юристами.

— Мне нужен тест на отцовство. Сегодня.

Рита рассмеялась. Не зло, не весело, а с той особенной интонацией, которая бывает у людей, которые давно знают ответ и устали ждать, пока остальные его поймут.

— Делай. Мне без разницы. Результат всё равно один.

И добавила, помолчав:

— Только не тяни. Я не намерена весь день сидеть в твоём графике.

Она приехала через сорок минут — в том же пальто, с тем же взглядом, с той же осанкой женщины, которая привыкла к вниманию и не просила, а требовала его. Полина шла за ней — маленькая, тихая, с зайцем в одной руке и сердоликом в кармане. Даша ждала их у входа в клинику на Остоженке

— частную, тихую, с мягким светом и reception, где пахло не спиртом, а жасмином. Вова выбрал её за полчаса до визита — позвонил знакомому, знакомый позвонил знакомому, и вот они уже сидели в холле: Вова у окна, скрестив руки на груди, Рита на диване, закинув ногу на ногу, Даша рядом с Полиной на низкой скамейке. Как странная, неуклюже собранная компания, в которой никто не знает свою роль.

Рита достала телефон и начала листать ленту — спокойно, расслабленно, будто ожидала в салоне красоты, а не в медицинском учреждении. Вова стоял у окна и смотрел на улицу так, будто там, среди машин и пешеходов, прятался ответ на вопрос, который он боялся задать даже себе. Постукивал пальцем по стеклу — нервно, без ритма, как бьётся сердце человека, который ждёт приговора.

Даша сидела рядом с Полиной. Девочка прижимала к себе зайца и водила карандашом по листу бумаги — рисовала камни. Не просто камни, а слоистые, с прожилками, будто пыталась поймать в рисунке то, о чём рассказывала в кабинете Даши полчаса назад. Каждый слой — отдельный цвет: коричневый, оранжевый, белый, серый. Она выводила их старательно, с той сосредоточенностью, которая бывает у детей, когда они заняты чем-то по-настоящему важным. Даша дала ей свой блокнот — тот самый, с обложкой цвета топлёного молока, в котором вела личные записи. Полина открыла его на чистой странице и начала рисовать, и Даша подумала, что это, может быть, самое правильное использование этого

блокнота за все пять лет: не «причины уйти», а камни, нарисованные детской рукой.

— Они как история, — тихо сказала Полина, не поднимая глаз. — Каждый слой — это год. Или миллион лет. Мама говорит, это просто грязь. Но они не грязь. Они помнят.

Даша кивнула. Осторожно поправила прядь волос, упавшую девочке на глаза.

— Ты очень точно это видишь. Не все взрослые умеют так смотреть.

— А ты умеешь?

— Стараюсь. Иногда забываю. Но когда рядом есть кто-то, кто напоминает, становится легче.

Полина на секунду перестала рисовать и посмотрела на Дашу. В её взгляде был вопрос — не детский, а тот самый, слишком взрослый: «Ты правда так думаешь? Или просто говоришь, как взрослые?»

— Я правда так думаю, — сказала Даша, будто отвечая на незаданный вопрос. — Камни не врут. Люди — иногда. Камни — никогда.

Полина кивнула. И продолжила рисовать. Карандаш шуршал по бумаге, и этот тихий звук был единственным, что не давало тишине стать оглушительной.

Рита, не отрываясь от телефона, бросила через плечо:

— Полина, не рисуй на чужих вещах.

— Это не чужое, — тихо сказала Даша. — Это мой блокнот. И мне нравится, что она рисует в нём.

Рита подняла глаза от экрана, посмотрела на Дашу тем самым оценивающим, холодным взглядом, и пожала плечами.

— Как хотите. Только потом не жалуйтесь, что исписали.

Даша не ответила. Не потому что не хотела, а потому что понимала: Рита не злится на блокнот. Рита злится на то, что Полина сидит рядом с Дашей, а не с ней. На то, что девочка, которая всю жизнь была её оружием, её аргументом, её «посмотри, что ты сделал», вдруг нашла кого-то, рядом с кем можно быть не аргументом, а ребёнком. И Рита это чувствовала — не сознанием, а чем-то более глубоким, тем, что называют инстинктом, но что на самом деле просто страх потери контроля.

Вова резко повернулся от окна.

— Сколько ещё? — спросил он, обращаясь к воздуху.

Рита усмехнулась, не глядя.

— Терпение, Соловьёв. Ты же не привык ждать. Тебе всё нужно сразу: сделка, результат, женщина...

— Не надо, — оборвал он. Голос прозвучал жёстко, без привычной иронии, без бравады. — Сегодня не надо.

Рита приподняла бровь, будто удивилась, что он вообще способен на такой тон. Но промолчала. И в этой тишине, вдруг ставшей тяжёлой, стало слышно, как стучит её каблук по полу — не ритмично, а нервно, будто внутри неё что-то набирало обороты, как волна, которая идёт к берегу, но ещё не решила — разбиться или откатиться.

Даша смотрела на Вову и думала: сегодня утром Рита

втолкнула Полину в его кабинет, и он увидел девочку впервые в жизни — мельком, на несколько минут, в эпицентре скандала, когда кричали и требовали, и он не успел разглядеть её, не успел понять, не успел ничего. Сейчас — второй раз. Он увидит её снова, но уже в другом пространстве: не в своём кабинете, не на поле боя, а здесь, в тихом холле клиники, где пахнет жасмином и гудит вентилятор. И между этими двумя встречами — пропасть. Потому что утром он узнал, что у него есть дочь. А сейчас узнает, что это правда. И после этого уже нельзя будет сказать «я не знал».

Дверь кабинета открылась. Медсестра — молодая, в белом халате, с папкой в руках — вышла в коридор и негромко произнесла:

— Владимир Николаевич? Результаты готовы. Пройдите, пожалуйста.

Он шагнул вперёд, будто его потянули за невидимую нить. Даша встала, инстинктивно прикрывая собой Полину, хотя опасность была не в комнате, а в словах, которые сейчас прозвучат. Рита осталась сидеть, но каблук перестал стучать.

Медсестра протянула папку. Вова открыл её, пробежал глазами по строчкам. Лицо не менялось — ни радости, ни гнева, ни облегчения. Только что-то внутри него будто застыло, как застывает вода, когда температура падает ниже нуля: не сразу, а медленно, изнутри, слой за слоем.

Он закрыл папку. Поднял глаза — не на Риту, не на медсестру, а на Полину, которая сидела на скамейке с блокнотом

и карандашом и смотрела на него снизу вверх. Даша видела, как он смотрел на неё — по-настоящему, впервые. Утром, в кабинете, он не видел её: был слишком занят Ритой, её криками, её требованиями, своим шоком. Сейчас — видел. И Даша знала, что он видит: тёмные глаза, такие похожие на его собственные, что от этого взгляда у самого Вовы перехватывало дыхание. Линии лица — не разительно, не как копия, но что-то неуловимо его, то, что нельзя подделать, то, что нельзя не узнать. И привычку молчать, прятать подбородок, становиться незаметной — его привычку, только в детском исполнении, в женском варианте, в маленьком теле, которое сжалось на скамейке, будто пыталось занять как можно меньше места в мире.

— Положительный, — сказал он тихо. Так тихо, что эти два слова прозвучали громче любого крика.

Слово повисло в воздухе, как камень, брошенный в воду, — и круги пошли по всем сразу. Рита откинулась на спинку дивана и улыбнулась — не радостно, а с тем выражением, которое бывает у человека, сказавшего «я же говорила». Медсестра кивнула и удалилась. Даша почувствовала, как Полина рядом с ней замерла — не вздрогнула, не заплакала, а просто замерла, как замерзают зверьки, когда слышат шаги.

— Значит, он правда мой папа? — спросила Полина, глядя не на Вову, а на Дашу.

Даша присела перед ней на корточки, чтобы их глаза были на одном уровне.

— Да. Теперь это точно.

Полина кивнула, будто проверяла, подходит ли это слово к тому, что она чувствует. Потом прижала зайца крепче и тихо добавила:

— Хорошо.

И в этом «хорошо» не было восторга, не было радости, которую показывают в фильмах. В нём была тишина — та самая, которая приходит, когда долго чего-то ждал и наконец получил, но ещё не веришь, что это настоящее. Не «папа» — просто факт. Подтверждение на бумаге. Два слога, подпись, печать. Пока — не больше.

Вова сделал шаг к Полине. Потом остановился. Даша видела, как он борется с собой: хочет подойти, но не знает как. Хочет сказать что-то, но не находит слов. Стоит перед семилетней девочкой — своей дочерью, как только что подтвердила бумага в папке, — и между ними пропасть. Он не знает её. Не знает, что она любит, чего боится, как спит, что ест, о чём мечтает. Знает только, что она существует, что у неё его глаза и привычка молчать, когда обидно. Для Вовы Соловьёва, привыкшего знать всё — цены, котировки, ставки, условия, — это незнание было невыносимым. Но он не отступил.

— Привет, — неловко сказал он. — Я... я теперь знаю, что ты моя дочь. Точно знаю.

Полина посмотрела на него — спокойно, без страха, но и без тепла. Она видела его впервые в жизни по-настоящему, не мельком, не сквозь дым скандала. Мужчина в дорогом

костюме, с тёмными глазами, похожими на её собственные, стоит перед ней и говорит «привет», будто это слово может перекинуть мост через семь лет отсутствия. Полина не отодвинулась, но и не улыбнулась. Просто смотрела — изучающе, осторожно, как смотрят на новую вещь, которую принесли в дом и о которой ещё не известно, опасная она или нет.

— Здравствуйте, — тихо ответила она. И это «вы» — вежливое, детское, дежурное — прозвучало как стена. Не злая, не высокая, но стена.

Вова кивнул. Даша видела, как он пытается найти следующее слово, как перебирает в голове привычный арсенал — шутки, комплименты, истории — и отбрасывает каждый, потому что всё это здесь не работает. Шутка — слишком легкомысленно. Комплимент — слишком фальшиво. История — слишком длинно. Он не умел быть с детьми. Не имел практики. Не знал, что с ними делать, кроме как дарить подарки, а подарки здесь были бесполезны. Он впервые стоял перед человеком, которому ничего не мог предложить, кроме себя, — и себя-то ему было недостаточно.

— У тебя красивый... — он замолчал, не зная, что сказать. Заяц? Камень в кармане? Рисунок? — У тебя красивый рисунок.

Полина опустила глаза на блокнот. Карандаш замер в её пальцах.

— Это камни, — сказала она. — Из каньона. Не настоящего. Я по картинкам рисую.

— Из какого каньона? — Вова спросил, и Даша увидела, как он цепляется за эту ниточку, как за спасательный круг. Не потому что ему интересно — может, и интересно, но скорее потому что это единственное, что Полина сказала ему, и он хочет, чтобы разговор не оборвался.

— Из Гранд-Каньона, — тихо сказала Полина. — Там камни слоями. Каждый слой — это время. Миллионы лет. Я хочу увидеть его. Настоящий.

Вова кивнул. Открыл рот, чтобы что-то сказать, — и промолчал. Даша видела: он хотел предложить. Хотел сказать «я отвезу тебя» или «мы поедem» — привычный жест человека, который решает проблемы деньгами. Но не сказал. Может, потому что понял: сейчас это прозвучит как сделка. Как «я куплю тебе каньон взамен на семь лет отсутствия». И от этого станет только хуже.

Он просто кивнул. И Полина вернулась к рисунку. Разговор закончился, не начавшись, — но Даша знала, что это не провал. Это первый шаг. Неловкий, неуклюжий, как первый шаг ребёнка, который ещё не умеет ходить, но уже пытается.

Рита встала с дивана. Поправила пальто. Повернулась к ним — к обоим, к Вове и к Полине, — и Даша увидела в её лице то, чего не видела раньше. Не злость, не расчёт, не ту светскую маску, которую Рита носила как вторую кожу. Усталость. Обычную, человеческую, ту, которая приходит, когда долго держишь что-то, что давно стало тяжёлым, и наконец находишь, кому передать. Или просто не можешь больше

держать.

— Ну что, папа, — протянула она, и голос её звучал ровно, без прежнего металла. — Поздравляю. Результат один, как я и говорила. Теперь она твоя проблема. Забирай.

— Рита, не надо так, — Вова нахмурился. — Она не проблема. Она...

— Что? Дочь? Ребёнок? Человек? — Рита перечислила это так, будто пробовала слова на вкус и находила их горькими. — Да, всё это. И именно поэтому я говорю: забирай. Я не могу. Я не... — она запнулась, и Даша увидела, как на секунду, на одну только секунду, маска треснула и из-под неё мелькнуло что-то живое, настоящее, — я не умею быть матерью. Никогда не умела. Думала, смогу. Не смогла. Так что забирай. Ты хотел доказательств — получил. Теперь хочешь ответственности — бери. Мне без разницы.

Она подошла к Полине. Наклонилась. Поправила воротник её свитера — жест, который мог бы быть заботливым, если бы не был таким механическим, как заводят часы, которые давно не показывают время.

— Веди себя хорошо, ладно? Не капризничай. И не приставай с глупостями.

Полина молча кивнула. Даша видела, как девочка вжала голову в плечи — не от страха, а от привычки становиться невидимой, когда рядом эта женщина.

Рита выпрямилась. Бросила короткий взгляд на Вову, потом на Дашу — будто оценивала, кому из них достанется

больнее. И пошла к выходу. Каблуки застучали по полу — сначала громко, потом тише, потом совсем тихо. Рита шла, и с каждым шагом что-то уходило из этого пространства: напряжение, воздух, само её присутствие — будто она вынимала себя из комнаты, как вынимают камень из кладки, и оставшаяся стена ещё держится, но уже непонятно, на чём.

В дверях она обернулась. Не к Полине — к Вове.

— Если что — ты знаешь, где меня найти. Но не звони без повода.

И ушла. Просто ушла. Не обернулась ещё раз, не помахала, не сказала «пока», не присела, не обняла. Дверь закрылась за ней с тихим щелчком, и в холле клиники стало так тихо, что было слышно, как гудит вентилятор где-то в глубине здания.

Несколько секунд никто не двигался. Вова смотрел на дверь, будто ждал, что Рита вернётся и скажет: «Шучу, я её забираю». Но дверь не открылась. Рита ушла. Оставила ребёнка — как оставляют вещь, которая больше не нужна, или которая никогда не была нужна, или которая была нужна не для того, для чего нужны детям.

Полина стояла посреди холла, прижимая к себе зайца. Сердолик лежал в кармане, и Даша видела, как маленькая рука сквозь ткань куртки обхватывает его — привычным, уже закрепившимся жестом, будто камень стал частью тела. Глаза у Полины были большие, спокойные — слишком спокойные для того, что только что произошло. Она смотрела

на дверь, за которой исчезла мать, и не плакала. Не звала. Не бежала следом. Просто стояла и смотрела, и в её взгляде не было ни обиды, ни боли — только та страшная, слишком знакомая Даше пустота, которая бывает у детей, давно привыкших к тому, что люди уходят. Не потому что не любят — может, и любят, по-своему. Но уходят. И ребёнок остаётся стоять один, с зайцем и камнем, и смотрит, как дверь закрывается, и не знает, откроется ли она снова.

Даша хотела подойти. Хотела присесть, обнять, сказать «всё хорошо». Но не стала. Потому что знала: «всё хорошо» — ложь. И Полина это знает. И если сказать ложь сейчас, когда девочка только что увидела правду — всё, что было между ними в кабинете, камни, сердолик, Гранд-Каньон — всё это рассыплется, как песок.

Вместо этого Даша подошла тихо, встала рядом — не перед, не напротив, а рядом, плечом к плечу, так, чтобы Полина чувствовала её, но не была обязана смотреть. Так стоят рядом с теми, кому тяжело, когда слова бесполезны: не для того, чтобы спасти, а для того, чтобы показать, что ты есть.

— Мама уехала? — спросила Полина. Голос ровный, без дрожания. Как спрашивают о погоде.

— Да, — честно ответила Даша.

— Она вернётся?

Даша помолчала. Подумала. Не о том, что сказать, а о том, что можно пообещать, не солгав.

— Не знаю, — сказала она. — Но я пока здесь.

Полина кивнула. Взяла Дашу за руку — не крепко, не отчаянно, а просто положила свои маленькие холодные пальцы в её ладонь, как кладут камень: осторожно, но уверенно. И Даша поняла, что этот жест — не просьба о спасении, а проверка: «Ты тоже уйдёшь? Или останешься?»

Она осталась.

Вова стоял в стороне, и Даша видела, как он борется с собой. Он хотел подойти к дочери, но не знал как. Хотел обнять, но боялся. Хотел сказать что-то, но слова не находились — все, что он умел: «отчёт», «график», «инвесторы», «сделка» — были бесполезны здесь, рядом с семилетней девочкой, которую только что бросила мать. Он смотрел на неё — свою дочь, подтверждённую бумагой, подписанную, заверенную печатью — и не знал, куда деть руки. В карманы? За спину? На стол? Он привык держать в руках телефон, планшет, ручку — что угодно, что позволяет не чувствовать себя голым. Сейчас рук было некуда деть, и от этого он выглядел потерянным, как мальчишка, которого впервые оставили одного в большом доме.

— Даш, — тихо позвал он. — Что мне... что мне делать?

Даша посмотрела на него. В полумраке холла, в свете настольной лампы и приглушённом гудении вентилятора, он выглядел не как миллиардер, не как плейбой, не как человек, который всё решает. Он выглядел как мужчина, которому только что вручили ответственность, к которой он не готов, — и он это знал, и не прятался, и впервые за пять лет

не улыбался.

— Просто будь рядом, — сказала Даша. — Не говори, не обещай, не покупай. Просто будь.

Вова кивнул. И сделал шаг к Полине. Потом ещё один. Потом сел на скамейку — не рядом, но близко, так, что она могла видеть его, если повернула бы голову. И стал смотреть в окно, за которым шла обычная московская жизнь: машины, пешеходы, светофоры, дождь, который начинался мелкой моросью и постепенно становился серьёзнее.

Полина не повернулась. Но и не отодвинулась. И это было — пока — достаточно.

Они сидели втроём в пустом холле клиники: Вова у окна, Даша рядом с Полиной на скамейке, и каждый держал свою часть тишины. Полина — зайца и сердолик. Вова — свою неловкость и растерянность, руки, которые некуда деть, и слово «отец», которое ещё не прижилось, не стало плотью, а висело где-то между ним и реальностью, как ненадёжный мостик над пропастью в семь лет. Даша — холодную детскую руку в своей ладони и странное, незнакомое чувство, которое она не могла назвать, но которое, казалось, было сродни тому, что испытываешь, когда находишь что-то важное, давно потерянное. Не радость. Не облегчение. Что-то тише и глубже. Как камень, который ложится в ладонь и оказывается тёплым.

Через двадцать минут Даша вызвала машину. Полина молчала всю дорогу, прижимая зайца и время от времени по-

глаживая карман, где лежал сердолик. Вова сидел на переднем сиденье и тоже молчал, и водитель, привыкший к болтливому боссу, поглядывал в зеркало с недоумением, но вопросов не задавал. В машине пахло кожей и дождём, и за окном Москва текла мимо, серая, мокрая, безразличная.

В офисе Людмила встретила их молчаливым кивком и стаканом воды — для Полины. Девочка взяла его обеими руками и выпила маленькими глотками, как пьют те, кто долго терпел жажду, но не хотел показывать.

Даша провела Полину в свой кабинет. Усадила в кресло. Накрыла пледом, который держала в шкафу для ночных переработок. Полина не сопротивлялась, не капризничала, не задавала вопросов. Просто сидела, обняв зайца, и смотрела перед собой тем спокойным, слишком взрослым взглядом, от которого у Даши каждый раз что-то сжималось внутри.

Вова стоял в дверях.

— Она... — он понизил голос, — она останется тут? Со мной?

— Сегодня — да, — ответила Даша. — Завтра решим. Но сегодня она останется.

Он кивнул. Посмотрел на Полину — долго, внимательно, как смотрят на что-то, что впервые видят по-настоящему. Не как на проблему, не как на обязательство, не как на строчку в иске. Как на ребёнка. Маленького, тихого, с потрёпанным зайцем и тёплым камнем в кармане. Своего ребёнка, которого он видел дважды в жизни и от которого не знал, чего

ждать.

Потом тихо сказал:

— Я... я хочу, чтобы она осталась. Не на один день.

Даша посмотрела на него. Потом на Полину. Потом снова на него.

— Тогда тебе придётся научиться, — сказала она. — Не бояться. Не денег, не Риты — себя. Готов?

Вова молчал. Потом, тихо, без улыбки, без бравады, без привычного «обсудим после Дубая»:

— Нет. Но я попробую.

И Даша, которая пять лет слышала от него приказы, просьбы, угрозы, обещания, которые не выполнялись, — впервые поверила. Не словам. Тишине, которая стояла за ними. Тишине, в которой не было страха, а было что-то, чему она не могла дать имени, но что было похоже на начало.

Рита не позвонила ни в тот вечер, ни на следующий день, ни через день. Вообще — ничего. Как будто её не существовало. Телефон, который она оставила Вове — «если что, ты знаешь, где меня найти» — молчал, и это молчание было не тишиной, а отсутствием: Рита просто выключилась, вынула себя из уравнения, и оставшиеся — Вова, Полина, Даша — должны были как-то жить дальше, без неё.

Первый вечер Полина провела в Вовиной квартире на Патриарших. Квартира была большой, светлой, с высокими потолками и окнами во всю стену, но в ней не было ничего детского. Кожаный диван цвета графита, стеклянный стол,

на котором стояла ваза с сухоцветами — единственный намёк на уют, и тот, скорее всего, придумал дизайнер. На стенах — абстрактные картины в тяжёлых рамах. На полках — книги, которые никогда не открывались: толстые, в одинаковых переплётках, купленные погонно, чтобы заполнить пространство. На кухне — кофемашина, винный шкаф и ничего съедобного, кроме коробки с шоколадом из дьюти-фри.

Полина стояла в прихожей, прижимая зайца, и смотрела на всё это с тем выражением, которое бывает у человека, который попал в чужой дом и не знает, можно ли сесть.

— Это где ты живёшь? — тихо спросила она.

— Это где я сплю, — ответил Вова, и сам удивился тому, как точно это прозвучало.

Он показал ей гостевую комнату — единственную, кроме спальни, где была кровать. Большая, взрослая, с жёстким матрасом и тёмным покрывалом. Полина посмотрела на неё, потом на зайца, потом на Вову.

— А тут можно... можно что-нибудь поставить? — спросила она.

— Что угодно, — ответил Вова.

Полина поставила зайца на подушку. Потом достала из кармана сердолик и положила рядом — на тумбочку, рядом с будильником, который показывал 23:47. Два предмета на гладкой, безликой поверхности — серый заяц с пришитым ухом и тёплый оранжевый камень. Единственные вещи в этой квартире, которые были живыми.

Вова стоял в дверях и смотрел, как Полина забирается на кровать — неуклюже, с трудом, потому что кровать была высотой ей по грудь. Она натянула одеяло до подбородка, свернулась калачиком, прижав зайца к себе, и закрыла глаза. Не сказала «спокойной ночи», не попросила включить свет, не попросила оставить дверь открытой. Просто закрыла глаза, как закрывают книгу, которую устали читать.

Вова выключил свет и вышел. В коридоре было темно. Он постоял у двери, прислушиваясь: ни звука. Полина не плакала, не звала, не ворочалась. Она уже умела засыпать в тишине, в любой обстановке, в любой позе — навык, который дети приобретают не от счастья.

Он пошёл на кухню. Сел за стеклянный стол. Три часа ночи. За окном Москва спала, и только Патриаршие пруды тихо светились фонарями. Вова положил телефон на стол, смотрел на него, ждал: вдруг Рита позвонит, вдруг передумает. Но телефон молчал. Рита исчезла. По-настоящему, основательно, как умеют исчезать только люди, которые знают, что их отсутствие — это тоже сообщение.

Вова набрал Дашин номер. Не потому что хотел — потому что не знал, кому ещё звонить. Она ответила через два гудка — значит, не спала.

— Даш.

— Я здесь.

— Она заснула.

— Хорошо.

— Даш, у меня в квартире нет ничего. Нет еды, нет детской одежды, нет... — он запнулся, — нет ничего, что нужно ребёнку. Я не знаю, что ей есть на завтрак. Я не знаю, во что её одеть завтра. Я не знаю, нужно ли ей говорить «спокойной ночи» или она сама заснёт. Я не знаю.

Даша молчала. Потом тихо сказала:

— Ты ей уже сказал «спокойной ночи»?

— Нет. Я выключил свет и вышел.

— Тогда завтра скажи. Она не попросит, но ей нужно.

Вова закрыл глаза. За пять лет работы с ним Даша слышала его разным: требовательным, извиняющимся, пьяным, трезвым, паникующим. Но таким — растерянным, как мальчишка, которого впервые оставили одного — не слышала ни разу.

— Я приеду утром, — сказала она. — С продуктами и одеждой. Ничего не трогай, просто... будь рядом, когда она проснётся.

— Даш, ты не обязана.

— Я знаю.

Она повесила трубку. Вова сидел на кухне до пяти утра, слушая тишину. Один раз встал, подошёл к двери Полины, прислушался. Ни звука. Он приоткрыл дверь — ровно на щель — и увидел: Полина спала, свернувшись калачиком, заяц прижат к лицу, сердолик на тумбочке слабо светился в темноте, как уголёк, который забыли потушить.

Он закрыл дверь. Пошёл к себе. Лёг. Не уснул. ***

Утром, в семь, Даша стояла у его двери с двумя пакетами: в одном — продукты, в другом — одежда, купленная по дороге в детском магазине на Тверской. Она не знала размеров Полины, но взяла на глаз: худенькая, невысокая, лет семи. Пижама, две футболки, джинсы, тёплый свитер, носки, кроссовки. И ещё — зубная щётка, детская, с динозавром, потому что Даша помнила, что Полина выбрала футболку с динозавром, когда Рита ещё не ушла. Может, ей нравятся динозавры. Может, нет. Но Даша купила, потому что лучше угадать, чем не попробовать.

Вова открыл дверь — невыспавшийся, небритый, в мятой рубашке. Выглядел так, будто ночь провёл не в кровати, а на бруствере.

— Ты пришла, — сказал он, и в этих двух словах было столько облегчения, что Даша отвернулась, чтобы он не видел её лица.

— Я принесла яйца, молоко и хлеб, — сказала она, проходя мимо. — И ещё хлопья. Дети любят хлопья.

— Ты не знаешь, что она любит.

— Нет. Но я знаю, что голодному ребёнку нужно дать выбор. Она выберет сама.

Полина проснулась в восемь. Вышла из комнаты осторожно, босиком, с зайцем в одной руке и сердоликом в другой. Увидела Дашу на кухне — и замерла. На секунду. Только на секунду. Потом её лицо изменилось: не улыбка, не радость, а что-то тише и глубже — узнавание. «Ты здесь. Ты не ушла».

— Доброе утро, — сказала Даша. — Яиц или хлопьев?

— Хлопьев, — тихо ответила Полина и села за стол, положив зайца рядом с тарелкой и сердолик — на стол, рядом с солью.

Вова стоял в дверях кухни и смотрел, как Даша наливает молоко в хлопья, как Полина ест — медленно, аккуратно, не проливая ни крошки, — и думал: «Я не умею так. Я не умею просто налить молоко. Я хочу всё купить, всё решить, всё организовать. А нужно — просто налить молоко».

После завтрака Полина сидела на диване, поджав ноги, и рисовала в блокноте Даши. Вова позвонил Лере — Дашиной подруге, единственной, чьё имя помнил, — и попросил посидеть с девочкой пару часов. Лера приехала через сорок минут, со своей пятилетней дочкой, и Полина впервые за два дня оказалась не одна со взрослыми, а с ребёнком. Даша видела, как она постепенно оттаяла: сначала сидела в углу, потом придвинулась ближе, потом показала свой рисунок — камни, слоистые, с прожилками — и маленькая Лерина дочка сказала «красиво», и Полина улыбнулась. Впервые за два дня. Коротко, неуверенно, но улыбнулась.

А Даша и Вова сели в его кабинет — не тот, на Садовом, а домашний, маленький, со столом, заваленным бумагами, и ноутбуком, который Вова не открывал уже два дня, в отдельной квартире пару пролетами вверх. Владимир разделял пространство, не далеко, достаточно близко, что бы вернуться, но и не в том же месте, где работа соскальзывает маской

и можно расслабиться. И начали писать.

Не отчёт. Не план сделки. Не график встреч. Другое. Список того, что нужно сделать, чтобы в загородном доме — в том самом, в новой Москве, куда Вова ездил по выходным и который пустовал больше, чем жил — появилась комната для девочки.

— Не «детская», — сказал Вова, открывая пустой документ. — Детская — это комната для ребёнка в чужом доме. А это — комната для Полины. В её доме.

Даша кивнула. Достала свой блокнот — тот самый, с обложкой цвета топлёного молока, в котором Полина рисовала камни, — перелистнула на чистую страницу. Камни, нарисованные детской рукой, остались на предыдущих листах, и Даша подумала, что не станет их стирать. Пусть будут.

— Тогда начнём, — сказала она. — Иди от того, что ты знаешь о ней. Не от того, что, по-твоему, должно быть в детской. От того, что знаешь.

Вова посмотрел на неё.

— Я почти ничего о ней не знаю.

— Ты знаешь, что она любит камни. Знаешь, что она мечтает о Гранд-Каньоне. Знаешь, что она прячет вещи, чтобы их не выбросили. Знаешь, что она не любит, когда громко. Знаешь, что ей важен заяц. Вот и всё. Этого достаточно, чтобы начать.

Вова опустил глаза к пустому экрану. Пальцы легли на клавиши. Он не стал писать красиво — просто вываливал,

пункт за пунктом, всё, что приходило в голову, а Даша сидела рядом и уточняла, направляла, добавляла то, о чём он не думал.

— Окно должно открываться, — сказал Вова. — Не форточка, а чтобы можно было распахнуть и почувствовать ветер. И подоконник — широкий, чтобы можно было сидеть, поджав ноги, и смотреть.

— И подушка на подоконник, — добавила Даша. — Большая, мягкая. И плед. Не декоративный, а такой, в который хочется завернуться.

— Три разных света, — продолжал Вова. — Один яркий, для уроков. Второй тёплый, для чтения. Третий — совсем тихий, ночной. Чтобы можно было включить и не бояться темноты.

— И не верхний, — сказала Даша. — Верхний свет — как в кабинете. Детям нужно, чтобы свет был рядом. Настольная лампа — на гибкой ножке, чтобы можно было повернуть куда хочешь.

— Кровать — низкая. Чтобы она сама могла залезть. И бортик, невысокий. Покрывало — мягкое, чтобы хотелось трогать.

— И много подушек, — сказала Даша. — Не декоративных, а настоящих. Чтобы можно было строить из них что-то. Дети строят из подушек крепости, замки, пещеры. Ей нужно место, где можно спрятаться.

Вова кивнул и записал.

— Ниша. Не шкаф, а ниша — с полками и мягким светом внутри. Чтобы она могла поставить туда свои вещи: зайца, камень, рисунки. Её тайное место. Никто не должен туда лезть без спроса.

— Даже ты, — тихо сказала Даша.

— Даже я, — согласился Вова. И в этом согласии было что-то, чего Даша раньше не слышала: не уступка, не согласие ради спокойствия, а понимание. Впервые он признавал, что у его дочери есть право на пространство, куда ему входа нет. Что быть отцом — это не значит иметь доступ ко всему. Что некоторые двери нужно оставить закрытыми.

— Цвет? — спросила Даша.

Вова задумался.

— Не белый. Не стерильный. Не «под ребёнка», где всё в розовых сердечках. Тёплый. Как песок. Или как кора дерева. И немного зелёного — как мох. И один яркий акцент. Не кричащий, но заметный. Чтобы, когда заходишь, сразу было видно: здесь кто-то живёт.

— Синяя подушка? — предложила Даша.

— Терракотовая, — ответил Вова. — Как сердолик. Пусть будет что-то, что напоминает ей о камне.

Даша посмотрела на него. В полумраке кабинета, с ноутбуком на коленях и ручкой в руке, он выглядел не как миллиардер, не как плейбой, а как человек, который впервые в жизни делает что-то, чего нельзя купить. Который сидит и придумывает комнату — не апартаменты, не пентхаус, не офис

— а комнату, в которой будет жить его дочь. И каждая деталь — подоконник, лампа, подушка, ниша — была не архитектурным решением, а попыткой сказать то, чего он не умел сказать словами: «Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Я не знаю как. Но я пытаюсь».

— Книжная полка — открытая, — продолжал Вова. — Не застеклённая. Чтобы книги были на виду, чтобы их хотелось брать. И доска для рисунков — с кнопками, чтобы она прикалывала листы. Чтобы чувствовала, что это её стена.

— И карта, — добавила Даша. — Большая, не учебная. С горами, океанами, лесами. И чтобы можно было ставить метки. Булавками. Чтобы она отмечала, где хочет побывать.

— Гранд-Каньон, — тихо сказал Вова. — Она отметит Гранд-Каньон.

— Да, — кивнула Даша. — Она отметит.

Они помолчали. Потом Вова сказал:

— И полка для камней. Простая, деревянная, без украшений. Чтобы она ставила туда свои находки. Даже если это просто серые камешки с улицы. Они для неё важны.

Даша почувствовала, как в горле встал ком. Она сглотнула, кивнула.

— Сердолик. Он у неё в кармане. Она с ним не расстанется. Нужно место и для него.

— Не в шкатулке, — сказал Вова. — Не «на хранение». А на виду. На полке, рядом с другими камнями. Чтобы он был частью комнаты.

Они писали до вечера. Даша не заметила, как наступил вечер — она была здесь, в этом кабинете, с ним, и не ушла, хотя должна была. Хотя написала заявление. Хотя решила, что с неё хватит. Хотя каждое «нет», которое она не смогла сказать, было ещё одним гвоздём в стену, которую она строила между собой и им. Но стена не строилась. Вместо неё строилась комната — для девочки, которая через два дня научила их обоих тому, чему они не научились за всю жизнь: быть рядом.

Когда список был готов, Вова позвонил. Не дизайнерам, не архитекторам — сначала Лере, чтобы узнать, как Полина. Лера сказала: «Нормально. Рисует. Ест. Спать хочет». Потом — команде, которая занималась его загородным домом. Он говорил коротко, чётко, без своей обычной небрежности: «Завтра утром. Полная перепланировка одной комнаты. Вот список. Срок — два дня. Бюджет — без лимита. Но не „без лимита“ в смысле „золото и мрамор“. Без лимита в смысле „сделайте правильно“».

Команда приехала на следующий день, в семь утра. Вова отвёз Полину к Лере, которая вызвалась посидеть, — и поехал в новую Москву. Даша поехала с ним. Не потому что должна была. Потому что не могла не поехать. Потому что знала: если не поедет, он превратит комнату в проект, в сделку, в то, что нужно «сдать в срок». А ей нужно было, чтобы он видел не проект, а будущее. Полинино будущее, которое начиналось с подоконника, подушки и тёплого света.

Загородный дом стоял на краю леса, в получасе от МКАД. Большой, бревенчатый, с террасой и видом на поле, за которым начинался сосновый бор. Вова купил его три года назад, после того, как устал от квартир и захотел «что-то настоящее». Приезжал по выходным, спал, гулял с собакой, которую потом отдал, потому что некому было выгуливать. Дом пустовал больше, чем жил, и в нём было то же, что и в квартире на Патриарших: красиво, дорого, мёртво.

Комната, которую выбрали для Полины, была на втором этаже, с окном на восток. Утреннее солнце заходило сюда первым, и Даша подумала, что это правильно: Полина должна просыпаться со светом, а не с темнотой.

Рабочие начали в восемь. Сначала — демонтаж: сняли старые панели, вынесли мебель, очистили стены. Потом — монтаж: новые доски на стены, тёплый бежевый цвет, одна стена — приглушённо-зелёная, как мох после дождя. Вова стоял в дверях и смотрел, как комната меняется, и впервые в жизни не думал о сроке. Думал о том, как Полина откроет эту дверь и увидит не комнату, а место, где её ждали.

Даша руководила процессом — не потому что Вова не мог, а потому что он не знал деталей, которые делают комнату домом. Она выбирала ткани, шупая их пальцами: «Это жёстко, это скользит, вот это — то, что нужно, мягкое, тёплое, в которое хочется закутаться». Она проверяла свет: «Этот слишком белый, нужен тёплый, жёлтый, как лампа, а не как операционная». Она стояла у окна, когда ставили под-

оконник, и говорила: «Шире. Ещё шире. Чтобы можно было сидеть с ногами на подоконнике и смотреть на лес».

Нишу делали из дерева — тёплого, гладкого, с полками, которые Полина сможет достать сама. Даша поставила на одну из полок маленькую деревянную шкатулку — не для украшений, а для «сокровищ»: камней, билетов, записок, всего, что кажется важным в семь лет.

На стене повесили карту мира — большую, с горами, океанами, лесами. Даша приколотла первую булавку: Аризона, Гранд-Каньон. Красную. Чтобы Полина, когда войдёт, сразу увидела: её мечта здесь, на стене, отмечена, признана, не выброшена.

Рядом с картой — доска для рисунков, с кнопками и маленькой корзинкой, где лежали карандаши и фломастеры. На полке — несколько пустых коробочек, чтобы Полина могла разложить свои вещи так, как ей хочется.

Кровать привезли на второй день — низкую, с мягким покрывалом цвета топлёного молока и кучей подушек, среди которых затерялась одна терракотовая — цвета сердолика, как и хотел Вова. Бортик был невысокий, но надёжный, из светлого дерева, гладкий, без острых углов. Рядом с кроватью — маленький коврик, мягкий, пушистый, чтобы босые ноги утром ступали на тёплое, а не на холодный пол.

Стол и стул поставили у окна. Лампа на гибкой ножке уже стояла на столешнице, и Даша проверила её три раза: яркий свет, тёплый свет, ночной свет. Все три режима работали. На

столе — пустой блокнот, новый, с гладкой обложкой. Даша положила его туда, потому что знала: Полина рисует, когда ей тяжело. Когда не может говорить — рисует. И ей нужно место, где рисунки ждут.

В шкаф — тот, что был невысокий, с ящиками, которые открывались легко, — повесили крючки на уровне Полининого роста. Положили несколько вешалок, детских, маленьких. Поставили корзину для грязного белья. На полку — сложили полотенца, маленькие, с вышитыми звёздами. Даша выбрала именно со звёздами, потому что думала: если Полина боится темноты, пусть у неё будут звёзды — хотя бы на полотенцах.

В углу, рядом с окном, поставили маленький радиоприёмник — не современный, а такой, с ручками и шкалой, чтобы можно было крутить и ловить волны. Даша нашла его в антикварном магазине на Арбате. «Пусть будет что-то, что связывает комнату с миром», — подумала она.

А на самой видной полке, в центре ниши, стоял небольшой деревянный ящичек с мягкой подкладкой — специально для сердолика. Камень пока лежал в кармане у Полины, но место для него было готово. Ждало.

Когда всё было закончено, Вова зашёл туда один. Постоял посреди комнаты, прислушиваясь к тишине. Комната была тёплой — не только цветом, но и чем-то неуловимым, тем, что бывает, когда пространство сделано не для картинки, а для человека. Стены — бежевые, с одной зелёной, как лес-

ная поляна. Подоконник — широкий, с подушками и пледом в клетку. Кровать — низкая, мягкая, с терракотовой подушкой, которая выделялась на фоне молочного покрывала, как сердолик на белом песке. Ниша — с тёплым светом и деревянными полками. Карта — с одной красной булавкой в Аризоне.

Он постоял. Потом тихо сказал — ни к кому:
— Тут можно жить.

Те же слова, что потом скажет Полина. Но он сказал их первым — в пустой комнате, в тишине, в доме, который пустовал три года и который впервые, может быть, стал тем, чем должен был быть. Домом.

Даша стояла за его спиной, в дверях. Она слышала. И подумала: «Вот так выглядит человек, который учится быть отцом. Не идеально, не с первого раза, не по учебнику. Неловко, страшно, через ошибки. Но учится».

И ещё подумала — то, чего не хотела думать, но что уже не могла остановить: «А я учусь быть рядом. Не как помощница, не как клей. А как человек, которому не всё равно».

Рита позвонила на третий день. Не Вове — Даше. Бросила, не здороваясь: «Как она?» — и, не дослушав ответ, повесила трубку. И снова тишина. Даша стояла с телефоном в руке и думала: Рита не позвонила дочери. Не позвонила Вове. Позвонила ей — чужой женщине, помощнице, человеку, который не имел к Полине никакого отношения. И в этом было всё: и вина, и страх, и та странная, изуродованная фор-

ма любви, которая не умеет быть рядом, но не может совсем исчезнуть.

Даша не сказала Вове. Просто кивнула сама себе, закрыла телефон и пошла проверять, не забыли ли рабочие положить звёзды на полотенца.

Не забыли. ***

Они приехали ближе к вечеру, когда солнце уже не палило, а мягко ложилось на крыши, окрашивая их в тёплый золотистый цвет. Полина сидела на заднем сиденье рядом с Дашей, прижимая к себе зайца, а сердолик привычно грел карман. Она почти не смотрела в окно — будто боялась, что если слишком внимательно будет разглядывать дорогу, то всё это окажется сном и в конце концов они снова окажутся в той безликой квартире на Патриарших, где даже кровать была слишком высокой.

Вова шёл впереди, открывая двери, будто прокладывал путь. В доме пахло свежей древесины и краской — терпким, живым запахом, который бывает, когда пространство перестаёт быть просто квадратными метрами и начинает дышать. Даша держала Полину за руку — не крепко, не так, будто боится, что девочка убежит, а просто чтобы та чувствовала: рядом кто-то есть.

— Это наш дом, — тихо сказал Вова, стоя на пороге второго этажа. Он не сказал «твой дом» — боялся, что слово прозвучит как обещание, которое он пока не имел права давать. Но в интонации всё равно было это: «здесь ты можешь

остаться».

Они остановились перед дверью комнаты. Вова чуть замешкался, будто хотел сам первым заглянуть внутрь, проверить, всё ли на месте, не забыли ли чего-то важного. Потом посмотрел на Полину.

— Ты можешь войти первой. Если хочешь. Или мы можем вместе. Или вообще не заходить, если сейчас не хочется.

Полина подняла на него глаза — не с вызовом, не с недоверием, а с тем особенным детским вниманием, когда человек взвешивает каждое слово. Потом перевела взгляд на дверь. Ручка блестела, но не холодно, а как-то по-домашнему, будто её уже тысячу раз трогали маленькие руки — хотя это было не так.

Она не ответила. Просто шагнула вперёд и повернула ручку.

Даша задержала дыхание. Ей вдруг стало страшно — не за Полину, а за Вову. За то, как он сейчас будет смотреть на её лицо, как будет ловить малейшее движение, любую тень эмоции, чтобы понять: получилось? Получилось сделать так, чтобы ей было хорошо?

Комната встретила их тихим светом. Не ярким, не режущим глаза, а тёплым, будто кто-то зажег в ней маленький костёр и оставил гореть. Окно было распахнуто, и лёгкий ветерок шевелил край пледа на подоконнике. На кровати лежала куча подушек, среди которых одна — терракотовая — сразу бросалась в глаза. Карта мира висела на стене, и на ней, пря-

мо над Аризоной, поблескивала красная булавка.

Полина вошла и остановилась. Не бросилась к кровати, не побежала к карте, не стала трогать полки. Просто стояла и смотрела, медленно обводя взглядом комнату, как будто пыталась запомнить каждую деталь, чтобы потом, если придётся уйти, она могла закрыть глаза и увидеть это снова.

Потом она подошла к подоконнику. Провела ладонью по деревянной поверхности — проверяя, гладкая ли, настоящая ли. Взяла одну из подушек, прижала к себе, потом положила обратно — будто примеряла, подходит ли. Подошла к нише, провела пальцами по полкам. Остановилась у ящичка с мягкой подкладкой. Посмотрела на него, потом на Дашу, потом снова на ящичек.

— Это... для сердолика? — тихо спросила она.

Даша кивнула.

— Если хочешь. Там ему будет хорошо. И ты всегда будешь знать, где он лежит.

Полина достала камень из кармана. Поддержала его на ладони, будто давая ему последний шанс остаться с ней. Потом осторожно положила в ящичек. Камень лёг на мягкую ткань, как на своё место. И в этом жесте было что-то взрослое — не по годам, а по тяжести момента: она доверила свою самую ценную вещь этой комнате.

— Тут можно жить, — сказала Полина. И это прозвучало не как восторг, не как благодарность, а как факт. Спокойный, твёрдый, как камень, который она только что оставила

в ящичке.

Вова выдохнул — Даша услышала этот выдох, хотя он старался его скрыть. Он стоял у двери, засунув руки в карманы, будто не знал, куда их деть, и смотрел на дочь так, словно боялся спугнуть этот момент одним лишним словом.

— Хочешь, я покажу, как работает лампа? — спросила Даша, мягко нарушая тишину. — У неё три режима. Один для чтения, один для уроков, а один совсем тихий — чтобы не бояться темноты.

Полина кивнула и подошла к столу. Даша показала, как поворачивать ручку, как свет становится то ярче, то мягче, почти исчезает, оставляя только тёплое пятно. Полина попробовала сама — один раз, второй, будто проверяла, будет ли слушаться.

Потом её взгляд упал на карту. Она подошла ближе, прищурилась, разглядывая булавку.

— Это Гранд-Каньон, — сказала она, не спрашивая, а утверждая.

— Да, — ответил Вова. — Я подумал... пусть будет. Чтобы ты знала, что о твоей мечте помнят.

Полина не подняла на него глаз. Но уголки её губ чуть дрогнули — не улыбка, но что-то близкое к ней. Что-то, что говорило: «я слышу».

Она подошла к кровати, села на край, попробовала, насколько мягкая. Потом легла на бок, подтянув ноги, и обняла зайца. Комната будто приняла её — не шумно, не торже-

ственно, а тихо, как принимают уставшего путника: без лишних слов, просто давая место, где можно выдохнуть.

— Можно я тут посижу? — спросила она, глядя не на Вову, а на окно, за которым темнело небо.

— Конечно, — сказал Вова. И добавил, будто спотыкаясь о собственные слова: — Ты можешь тут сидеть, лежать, рисовать, молчать... всё, что хочешь. Это твоя комната.

Полина снова кивнула. Взяла с полки пустой блокнот, открыла его, провела пальцем по чистой странице. Потом посмотрела на доску для рисунков, на корзинку с карандашами.

— А можно я сейчас ничего не буду рисовать? — спросила она. — Просто посижу.

— Можно, — сказала Даша. — Иногда самое важное — просто посидеть и понять, что ты дома.

И в этот момент что-то щёлкнуло — не в комнате, а между ними. Не громкий звук, а тихий, почти неслышный, как щелчок замка, который наконец-то встал на место. Полина осталась сидеть на кровати, прижимая зайца, глядя в окно, где зажигались первые звёзды. Вова стоял у двери и не уходил. Даша присела на край подоконника, не мешая, просто оставаясь рядом.

А комната жила. Плед слегка шевелился от ветра, лампа тихо светилась в ночном режиме, карта ждала новых булавок, ящичек хранил сердолик, а подоконник был готов принять маленькую девочку, которая будет сидеть на нём, под-

жав ноги, и смотреть на лес.

Это был не идеальный момент. Не радостный до слёз, не счастливый до крика. Но он был настоящий. И этого было достаточно., которое бывает после ссоры, когда оба сказали всё, но никто не услышал.

Даша сидела на краю стола, Полина стояла рядом, держа сердолик у лампы. Оранжево-розовый свет проникал сквозь камень, и девочка смотрела на него так, будто в этом свечении было что-то, что она давно искала и наконец нашла. Заяц лежал на краю стола — впервые за весь день выпущенный из рук, и Даша подумала, что это, пожалуй, первый настоящий знак доверия: Полина отпустила единственное, за что держалась.

Потом стукнула дверь. Шаги — быстрые, сердитые, каблучки по ковролину. Ритин голос, уже из коридора, бросивший кому-то — видимо, Людмиле: «Я не уходила. Я просто вышла подышать». И снова шаги, но уже в другую сторону — к кабинету Даши.

Дверь открылась без стука. Рита вошла — резко, как открывают, когда считают, что стучать для слабых. Её взгляд метнулся к Полине, к камню в её руках, к Даше, сидящей на краю стола, и в нём мелькнуло что-то, чего Даша не успела разобрать — может, раздражение, может, ревность, может, просто усталость человека, который только что истратил весь свой порошок и теперь не знал, что делать с оставшимся дымом.

— Полина, выходим. Мы уходим.

Девочка вздрогнула. Машинально спрятала сердолик за спину, будто его могли отнять. Заяц остался на краю стола — она забыла его, и Даша поняла, что это не забывчивость, а растерянность: Полина не знала, что делать дальше. Только что ей подарили тёплый камень и сказали «он будет греть, когда станет холодно», и теперь мир, который на секунду стал безопасным, снова дёрнул её за рукав и сказал: «Пойдём».

— Маргарита Сергеевна, может, не стоит так резко... — начала Даша, но Рита уже не слушала.

— Я сказала — выходим. Это не просьба. Мы пришли, я сказала что хотела, теперь уходим.

Полина медленно, не глядя на мать, переложила сердолик в карман куртки. Потом взяла зайца. Прижала к себе. Потом посмотрела на Дашу — одним из тех взглядов, которые дети дарят тем, кому доверяют, — коротких, но ёмких, будто в секунду вкладывают в него всё: «спасибо», «не хочу уходить», «ты ещё тут?»

— Спасибо, — прошептала она.

Даша кивнула. Хотела сказать «приходи ещё», но поняла, что это звучит как прощание, а прощаться не хотелось. Поэтому просто сказала:

— Сердолик пусть будет у тебя. Он твой.

Полина сжала камень в кармане — Даша видела, как маленькая рука сквозь ткань куртки обхватила его, — и они

с Ритой вышли. Даша слышала, как их шаги удаляются по коридору: каблуки Риты, твёрдые, уверенные, будто каждый шаг — утверждение, и тихое шарканье Полины, мелкое, старающееся не привлекать внимания. Одна шла, потому что знала куда. Другая — потому что некуда было деться.

Даша осталась в кабинете одна. Посмотрела на шкатулку, где раньше лежал сердолик. Пусто. Маленькая впадинка на бархатной подкладке — единственное доказательство того, что камень был. Даша провела пальцем по этой впадинке и подумала: «Вот так выглядит забота. Маленькая, тёплая, незаметная. Но если её забрать — остаётся ямка».

Она не успела додумать. Из-за стены — тишина, потом голос Вовы, глухой, приглушённый, будто он говорил в подушку. Потом снова тишина. Потом стук — не сердитый, не громкий, а тихий, как стучат, когда просят, а не требуют.

— Даш, — его голос, но другой. Не «доброе утро, Даш», брошенное на ходу. Не «Даш, мне нужен отчёт». Просто — «Даш». Одно слово, и в нём — просьба, которую он не умел сформулировать.

Даша встала, разгладила юбку и пошла.

В кабинете Вовы было темно — он не включил верхний свет, только настольную лампу, и в её свете его лицо казалось вырезанным из чего-то твёрдого, будто из камня. Он стоял у окна, спиной к двери, и не обернулся, когда она вошла. Просто сказал:

— Закрой дверь.

Даша закрыла. Села в кресло напротив стола. Ждала.

Он молчал. Долго. Не по-соловьёвски — обычно его молчание было набором воздуха перед следующим монологом, энергичным, шумным, заполненным словами. Это молчание было другим. Тихим. Пустым. Будто внутри него что-то обвалилось, и он ещё не знал, что осталось на месте, а что — нет.

Даша смотрела на его спину и думала: за пять лет она видела его разным — злым, обаятельным, пьяным, трезвым, напуганным, уверенным. Но таким — никогда. Он стоял у окна, и плечи его были опущены, и обычно прямая спина чуть ссутулилась, и впервые Даша подумала, что за дорогим костюмом, за улыбкой, за яхтами и вечеринками стоит человек, который не умеет быть нужным. Который знает, как купить, но не знает, как принадлежать. Который всю жизнь строил стену из денег и уверенности, а теперь стена рухнула, и за ней — ничего. Только он. Голый, растерянный, испуганный.

— Я не могу так, — наконец сказал он, не оборачиваясь. — Я не могу просто... отпустить её. Ты понимаешь? Она моя дочь. Моя. А эта... Маргарита... она пришла, швырнула мне ребёнком в лицо, как уликой, потребовала десять миллионов и ушла. И я стою тут, в этом кабинете, в этом костюме за пять тысяч, и не знаю, что делать. Я знаю, как закрыть сделку. Знаю, как уговорить инвестора. Знаю, какой кофе заказать японцам. Но я не знаю, как быть отцом. Даже не отцом — я

не знаю, как быть человеком рядом с этим ребёнком.

Даша слушала. Не перебивала, не кивала автоматически, не делала пометок. Просто сидела и слушала, как человек, который умеет слушать не ушами, а всем телом.

— Мне нужен тест, — сказал он, и голос его стал жёстче, будто он цеплялся за деловую конкретику, как за спасательный круг. — Тест на отцовство. Сегодня. Сейчас. Я не буду ничего решать, пока не увижу результат. Чёрный по белому.

— Ты сомневаешься? — тихо спросила Даша.

Он наконец обернулся. В полумраке его лицо казалось старше, чем обычно, и впервые за пять лет Даша увидела в его глазах не ту полуулыбку, не ту браваду, а что-то совсем другое: страх. Не страх перед Ритой, не страх перед журналистами — страх перед самим собой. Перед тем, что он может оказаться не тем, кем хотел быть.

— Нет. Я не сомневаюсь. Она похожа на меня. Глаза, подбородок, эта... привычка молчать, когда обидно. Я увидел это утром, когда Рита втолкнула её в кабинет. Но мне нужно знать. Не для неё. Не для Риты. Для себя. Мне нужно увидеть это на бумаге, чтобы поверить, что это не сон. Что у меня есть дочь. Что я не просто плейбой в дорогом костюме, который не помнит, с кем спал восемь лет назад, а... — он замолчал, и Даша видела, как он борется со словом, которое не мог произнести, — отец.

«Отец». Он сказал это слово так, будто оно обожгло ему язык. Будто впервые в жизни произнёс его по отношению к

себе. И Даша поняла: он не сомневался в отцовстве — он сомневался в себе. Ему нужен был документ, бумага, печать — что-то осязаемое, что превратило бы хаос в факт. Он привык жить в мире фактов: цифры, контракты, подписи. Там, где нет фактов, он терялся. А ребёнок — это не факт. Это живой, маленький, испуганный человек, которого нельзя подшить к балансу.

— Хорошо, — сказала Даша. — Я найду клинику. Сегодня.

— Сегодня?

— Ты сказал «сейчас». Значит, сегодня.

Вова кивнул. Потом помолчал и добавил — тише, будто стесняясь собственных слов:

— Даш, а ты... поедешь со мной?

Она хотела сказать «нет». Хотела сказать: «Это не моя работа. Я подала заявление. Ты не прочитал. Я ухожу». Но вместо этого сказала:

— Да.

И подумала: «Опять. Опять я говорю „да“, когда должна сказать „нет“». Опять я иду туда, куда не должна идти. Опять я становлюсь рядом, когда мне давно пора уйти». Но ноги уже несли её к двери, а руки уже доставали телефон, чтобы искать клинику, и Даша знала, что это — та самая привычка, от которой она пыталась убежать пять лет. Не работа. Не долг. Что-то другое, что заставляло её вставать, когда кто-то рядом падал.

Вова позвонил Рите сам — сухо, по-деловому, тем голо-
сом, которым обычно договаривался о встречах с юристами.
— Мне нужен тест на отцовство. Сегодня.

Рита рассмеялась. Не зло, не весело, а с той особенной
интонацией, которая бывает у людей, которые давно знают
ответ и устали ждать, пока остальные его поймут.

— Делай. Мне без разницы. Результат всё равно один.

И добавила, помолчав:

— Только не тяни. Я не намерена весь день сидеть в твоём
графике.

Она приехала через сорок минут — в том же пальто, с тем
же взглядом, с той же осанкой женщины, которая привыкла
к вниманию и не просила, а требовала его. Полина шла за
ней — маленькая, тихая, с зайцем в одной руке и сердоликом
в кармане. Даша ждала их у входа в клинику на Остоженке
— частную, тихую, с мягким светом и reception, где пахло
не спиртом, а жасмином. Вова выбрал её за полчаса до визи-
та — позвонил знакомому, знакомый позвонил знакомому,
и вот они уже сидели в холле: Вова у окна, скрестив руки
на груди, Рита на диване, закинув ногу на ногу, Даша рядом
с Полиной на низкой скамейке. Как странная, неуклюже со-
бранная компания, в которой никто не знает свою роль.

Рита достала телефон и начала листать ленту — спокойно,
расслабленно, будто ожидала в салоне красоты, а не в меди-
цинском учреждении. Вова стоял у окна и смотрел на ули-
цу так, будто там, среди машин и пешеходов, прятался ответ

на вопрос, который он боялся задать даже себе. Постукивал пальцем по стеклу — нервно, без ритма, как бьётся сердце человека, который ждёт приговора.

Даша сидела рядом с Полиной. Девочка прижимала к себе зайца и водила карандашом по листу бумаги — рисовала камни. Не просто камни, а слоистые, с прожилками, будто пыталась поймать в рисунке то, о чём рассказывала в кабинете Даши пол часа назад. Каждый слой — отдельный цвет: коричневый, оранжевый, белый, серый. Она выводила их старательно, с той сосредоточенностью, которая бывает у детей, когда они заняты чем-то по-настоящему важным. Даша дала ей свой блокнот — тот самый, с обложкой цвета топлёного молока, в котором вела личные записи. Полина открыла его на чистой странице и начала рисовать, и Даша подумала, что это, может быть, самое правильное использование этого блокнота за все пять лет: не «причины уйти», а камни, нарисованные детской рукой.

— Они как история, — тихо сказала Полина, не поднимая глаз. — Каждый слой — это год. Или миллион лет. Мама говорит, это просто грязь. Но они не грязь. Они помнят.

Даша кивнула. Осторожно поправила прядь волос, упавшую девочке на глаза.

— Ты очень точно это видишь. Не все взрослые умеют так смотреть.

— А ты умеешь?

— Стараюсь. Иногда забываю. Но когда рядом есть кто-

то, кто напоминает, становится легче.

Полина на секунду перестала рисовать и посмотрела на Дашу. В её взгляде был вопрос — не детский, а тот самый, слишком взрослый: «Ты правда так думаешь? Или просто говоришь, как взрослые?»

— Я правда так думаю, — сказала Даша, будто отвечая на незаданный вопрос. — Камни не врут. Люди — иногда. Камни — никогда.

Полина кивнула. И продолжила рисовать. Карандаш шуршал по бумаге, и этот тихий звук был единственным, что не давало тишине стать оглушительной.

Рита, не отрываясь от телефона, бросила через плечо:

— Полина, не рисуй на чужих вещах.

— Это не чужое, — тихо сказала Даша. — Это мой блокнот. И мне нравится, что она рисует в нём.

Рита подняла глаза от экрана, посмотрела на Дашу тем самым оценивающим, холодным взглядом, и пожала плечами.

— Как хотите. Только потом не жалуйтесь, что исписали.

Даша не ответила. Не потому что не хотела, а потому что понимала: Рита не злится на блокнот. Рита злится на то, что Полина сидит рядом с Дашей, а не с ней. На то, что девочка, которая всю жизнь была её оружием, её аргументом, её «посмотри, что ты сделал», вдруг нашла кого-то, рядом с кем можно быть не аргументом, а ребёнком. И Рита это чувствовала — не сознанием, а чем-то более глубоким, тем, что называют инстинктом, но что на самом деле просто страх по-

тери контроля.

Вова резко повернулся от окна.

— Сколько ещё? — спросил он, обращаясь к воздуху.

Рита усмехнулась, не глядя.

— Терпение, Соловьёв. Ты же не привык ждать. Тебе всё нужно сразу: сделка, результат, женщина...

— Не надо, — оборвал он. Голос прозвучал жёстко, без привычной иронии, без бравады. — Сегодня не надо.

Рита приподняла бровь, будто удивилась, что он вообще способен на такой тон. Но промолчала. И в этой тишине, вдруг ставшей тяжёлой, стало слышно, как стучит её каблук по полу — не ритмично, а нервно, будто внутри неё что-то набирало обороты, как волна, которая идёт к берегу, но ещё не решила — разбиться или откатиться.

Даша смотрела на Вову и думала: сегодня утром Рита толкнула Полину в его кабинет, и он увидел девочку впервые в жизни — мельком, на несколько минут, в эпицентре скандала, когда кричали и требовали, и он не успел разглядеть её, не успел понять, не успел ничего. Сейчас — второй раз. Он увидит её снова, но уже в другом пространстве: не в своём кабинете, не на поле боя, а здесь, в тихом холле клиники, где пахнет жасмином и гудит вентилятор. И между этими двумя встречами — пропасть. Потому что утром он узнал, что у него есть дочь. А сейчас узнает, что это правда. И после этого уже нельзя будет сказать «я не знал».

Дверь кабинета открылась. Медсестра — молодая, в бе-

лом халате, с папкой в руках — вышла в коридор и негромко произнесла:

— Владимир Николаевич? Результаты готовы. Пройдите, пожалуйста.

Он шагнул вперёд, будто его потянули за невидимую нить. Даша встала, инстинктивно прикрывая собой Полину, хотя опасность была не в комнате, а в словах, которые сейчас прозвучат. Рита осталась сидеть, но каблук перестал стучать.

Медсестра протянула папку. Вова открыл её, пробежал глазами по строчкам. Лицо не менялось — ни радости, ни гнева, ни облегчения. Только что-то внутри него будто застыло, как застывает вода, когда температура падает ниже нуля: не сразу, а медленно, изнутри, слой за слоем.

Он закрыл папку. Поднял глаза — не на Риту, не на медсестру, а на Полину, которая сидела на скамейке с блокнотом и карандашом и смотрела на него снизу вверх. Даша видела, как он смотрел на неё — по-настоящему, впервые. Утром, в кабинете, он не видел её: был слишком занят Ритой, её криками, её требованиями, своим шоком. Сейчас — видел. И Даша знала, что он видит: тёмные глаза, такие похожие на его собственные, что от этого взгляда у самого Вовы перехватывало дыхание. Линии лица — не разительно, не как копия, но что-то неуловимо его, то, что нельзя подделать, то, что нельзя не узнать. И привычку молчать, прятать подбородок, становиться незаметной — его привычку, только в детском исполнении, в женском варианте, в маленьком теле, ко-

торое сжалось на скамейке, будто пыталось занять как можно меньше места в мире.

— Положительный, — сказал он тихо. Так тихо, что эти два слова прозвучали громче любого крика.

Слово повисло в воздухе, как камень, брошенный в воду, — и круги пошли по всем сразу. Рита откинулась на спинку дивана и улыбнулась — не радостно, а с тем выражением, которое бывает у человека, сказавшего «я же говорила». Медсестра кивнула и удалилась. Даша почувствовала, как Полина рядом с ней замерла — не вздрогнула, не заплакала, а просто замерла, как замерзают зверьки, когда слышат шаги.

— Значит, он правда мой папа? — спросила Полина, глядя не на Вову, а на Дашу.

Даша присела перед ней на корточки, чтобы их глаза были на одном уровне.

— Да. Теперь это точно.

Полина кивнула, будто проверяла, подходит ли это слово к тому, что она чувствует. Потом прижала зайца крепче и тихо добавила:

— Хорошо.

И в этом «хорошо» не было восторга, не было радости, которую показывают в фильмах. В нём была тишина — та самая, которая приходит, когда долго чего-то ждал и наконец получил, но ещё не веришь, что это настоящее. Не «папа» — просто факт. Подтверждение на бумаге. Два слога, подпись, печать. Пока — не больше.

Вова сделал шаг к Полине. Потом остановился. Даша видела, как он борется с собой: хочет подойти, но не знает как. Хочет сказать что-то, но не находит слов. Стоит перед семилетней девочкой — своей дочерью, как только что подтвердила бумага в папке, — и между ними пропасть. Он не знает её. Не знает, что она любит, чего боится, как спит, что ест, о чём мечтает. Знает только, что она существует, что у неё его глаза и привычка молчать, когда обидно. Для Вовы Соловьёва, привыкшего знать всё — цены, котировки, ставки, условия, — это незнание было невыносимым. Но он не отступил.

— Привет, — неловко сказал он. — Я... я теперь знаю, что ты моя дочь. Точно знаю.

Полина посмотрела на него — спокойно, без страха, но и без тепла. Она видела его впервые в жизни по-настоящему, не мельком, не сквозь дым скандала. Мужчина в дорогом костюме, с тёмными глазами, похожими на её собственные, стоит перед ней и говорит «привет», будто это слово может перекинуть мост через семь лет отсутствия. Полина не отодринулась, но и не улыбнулась. Просто смотрела — изучающе, осторожно, как смотрят на новую вещь, которую принесли в дом и о которой ещё не известно, опасная она или нет.

— Здравствуйте, — тихо ответила она. И это «вы» — вежливое, детское, дежурное — прозвучало как стена. Не злая, не высокая, но стена.

Вова кивнул. Даша видела, как он пытается найти следующее слово, как перебирает в голове привычный арсенал —

шутки, комплименты, истории — и отбрасывает каждый, потому что всё это здесь не работает. Шутка — слишком легкомысленно. Комплимент — слишком фальшиво. История — слишком длинно. Он не умел быть с детьми. Не имел практики. Не знал, что с ними делать, кроме как дарить подарки, а подарки здесь были бесполезны. Он впервые стоял перед человеком, которому ничего не мог предложить, кроме себя, — и себя-то ему было недостаточно.

— У тебя красивый... — он замолчал, не зная, что сказать. Заяц? Камень в кармане? Рисунок? — У тебя красивый рисунок.

Полина опустила глаза на блокнот. Карандаш замер в её пальцах.

— Это камни, — сказала она. — Из каньона. Не настоящего. Я по картинкам рисую.

— Из какого каньона? — Вова спросил, и Даша увидела, как он цепляется за эту ниточку, как за спасательный круг. Не потому что ему интересно — может, и интересно, но скорее потому что это единственное, что Полина сказала ему, и он хочет, чтобы разговор не оборвался.

— Из Гранд-Каньона, — тихо сказала Полина. — Там камни слоями. Каждый слой — это время. Миллионы лет. Я хочу увидеть его. Настоящий.

Вова кивнул. Открыл рот, чтобы что-то сказать, — и промолчал. Даша видела: он хотел предложить. Хотел сказать «я отвезу тебя» или «мы поедem» — привычный жест человека,

который решает проблемы деньгами. Но не сказал. Может, потому что понял: сейчас это прозвучит как сделка. Как «я куплю тебе каньон взамен на семь лет отсутствия». И от этого станет только хуже.

Он просто кивнул. И Полина вернулась к рисунку. Разговор закончился, не начавшись, — но Даша знала, что это не провал. Это первый шаг. Неловкий, неуклюжий, как первый шаг ребёнка, который ещё не умеет ходить, но уже пытается.

Рита встала с дивана. Поправила пальто. Повернулась к ним — к обоим, к Вове и к Полине, — и Даша увидела в её лице то, чего не видела раньше. Не злость, не расчёт, не ту светскую маску, которую Рита носила как вторую кожу. Усталость. Обычную, человеческую, ту, которая приходит, когда долго держишь что-то, что давно стало тяжёлым, и наконец находишь, кому передать. Или просто не можешь больше держать.

— Ну что, папа, — протянула она, и голос её звучал ровно, без прежнего металла. — Поздравляю. Результат один, как я и говорила. Теперь она твоя проблема. Забирай.

— Рита, не надо так, — Вова нахмурился. — Она не проблема. Она...

— Что? Дочь? Ребёнок? Человек? — Рита перечислила это так, будто пробовала слова на вкус и находила их горькими. — Да, всё это. И именно поэтому я говорю: забирай. Я не могу. Я не... — она запнулась, и Даша увидела, как на секунду, на одну только секунду, маска треснула и из-под неё

мелькнуло что-то живое, настоящее, — я не умею быть матерью. Никогда не умела. Думала, смогу. Не смогла. Так что забирай. Ты хотел доказательств — получил. Теперь хочешь ответственности — бери. Мне без разницы.

Она подошла к Полине. Наклонилась. Поправила воротник её свитера — жест, который мог бы быть заботливым, если бы не был таким механическим, как заводят часы, которые давно не показывают время.

— Веди себя хорошо, ладно? Не капризничай. И не приставай с глупостями.

Полина молча кивнула. Даша видела, как девочка вжала голову в плечи — не от страха, а от привычки становиться невидимой, когда рядом эта женщина.

Рита выпрямилась. Бросила короткий взгляд на Вову, потом на Дашу — будто оценивала, кому из них достанется больнее. И пошла к выходу. Каблуки застучали по полу — сначала громко, потом тише, потом совсем тихо. Рита шла, и с каждым шагом что-то уходило из этого пространства: напряжение, воздух, само её присутствие — будто она вынимала себя из комнаты, как вынимают камень из кладки, и оставшаяся стена ещё держится, но уже непонятно, на чём.

В дверях она обернулась. Не к Полине — к Вове.

— Если что — ты знаешь, где меня найти. Но не звони без повода.

И ушла. Просто ушла. Не обернулась ещё раз, не помахала, не сказала «пока», не присела, не обняла. Дверь закры-

лась за ней с тихим щелчком, и в холле клиники стало так тихо, что было слышно, как гудит вентилятор где-то в глубине здания.

Несколько секунд никто не двигался. Вова смотрел на дверь, будто ждал, что Рита вернётся и скажет: «Шучу, я её забираю». Но дверь не открылась. Рита ушла. Оставила ребёнка — как оставляют вещь, которая больше не нужна, или которая никогда не была нужна, или которая была нужна не для того, для чего нужны детям.

Полина стояла посреди холла, прижимая к себе зайца. Сердолик лежал в кармане, и Даша видела, как маленькая рука сквозь ткань куртки обхватывает его — привычным, уже закрепившимся жестом, будто камень стал частью тела. Глаза у Полины были большие, спокойные — слишком спокойные для того, что только что произошло. Она смотрела на дверь, за которой исчезла мать, и не плакала. Не звала. Не бежала следом. Просто стояла и смотрела, и в её взгляде не было ни обиды, ни боли — только та страшная, слишком знакомая Даше пустота, которая бывает у детей, давно привыкших к тому, что люди уходят. Не потому что не любят — может, и любят, по-своему. Но уходят. И ребёнок остаётся стоять один, с зайцем и камнем, и смотрит, как дверь закрывается, и не знает, откроется ли она снова.

Даша хотела подойти. Хотела присесть, обнять, сказать «всё хорошо». Но не стала. Потому что знала: «всё хорошо» — ложь. И Полина это знает. И если сказать ложь сейчас,

когда девочка только что увидела правду — всё, что было между ними в кабинете, камни, сердолик, Гранд-Каньон — всё это рассыплется, как песок.

Вместо этого Даша подошла тихо, встала рядом — не перед, не напротив, а рядом, плечом к плечу, так, чтобы Полина чувствовала её, но не была обязана смотреть. Так стоят рядом с теми, кому тяжело, когда слова бесполезны: не для того, чтобы спасти, а для того, чтобы показать, что ты есть.

— Мама уехала? — спросила Полина. Голос ровный, без дрожания. Как спрашивают о погоде.

— Да, — честно ответила Даша.

— Она вернётся?

Даша помолчала. Подумала. Не о том, что сказать, а о том, что можно пообещать, не солгав.

— Не знаю, — сказала она. — Но я пока здесь.

Полина кивнула. Взяла Дашу за руку — не крепко, не отчаянно, а просто положила свои маленькие холодные пальцы в её ладонь, как кладут камень: осторожно, но уверенно. И Даша поняла, что этот жест — не просьба о спасении, а проверка: «Ты тоже уйдёшь? Или останешься?»

Она осталась.

Вова стоял в стороне, и Даша видела, как он борется с собой. Он хотел подойти к дочери, но не знал как. Хотел обнять, но боялся. Хотел сказать что-то, но слова не находились — все, что он умел: «отчёт», «график», «инвесторы», «сделка» — были бесполезны здесь, рядом с семилетней де-

вочкой, которую только что бросила мать. Он смотрел на неё — свою дочь, подтверждённую бумагой, подписанную, заверенную печатью — и не знал, куда деть руки. В карманы? За спину? На стол? Он привык держать в руках телефон, планшет, ручку — что угодно, что позволяет не чувствовать себя голым. Сейчас рук было некуда деть, и от этого он выглядел потерянным, как мальчишка, которого впервые оставили одного в большом доме.

— Даш, — тихо позвал он. — Что мне... что мне делать?

Даша посмотрела на него. В полумраке холла, в свете настольной лампы и приглушённом гудении вентилятора, он выглядел не как миллиардер, не как плейбой, не как человек, который всё решает. Он выглядел как мужчина, которому только что вручили ответственность, к которой он не готов, — и он это знал, и не прятался, и впервые за пять лет не улыбался.

— Просто будь рядом, — сказала Даша. — Не говори, не обещай, не покупай. Просто будь.

Вова кивнул. И сделал шаг к Полине. Потом ещё один. Потом сел на скамейку — не рядом, но близко, так, что она могла видеть его, если повернула бы голову. И стал смотреть в окно, за которым шла обычная московская жизнь: машины, пешеходы, светофоры, дождь, который начинался мелкой моросью и постепенно становился серьёзнее.

Полина не повернулась. Но и не отодвинулась. И это было — пока — достаточно.

Они сидели втроём в пустом холле клиники: Вова у окна, Даша рядом с Полиной на скамейке, и каждый держал свою часть тишины. Полина — зайца и сердолик. Вова — свою неловкость и растерянность, руки, которые некуда деть, и слово «отец», которое ещё не прижилось, не стало плотью, а висело где-то между ним и реальностью, как ненадёжный мостик над пропастью в семь лет. Даша — холодную детскую руку в своей ладони и странное, незнакомое чувство, которое она не могла назвать, но которое, казалось, было сродни тому, что испытываешь, когда находишь что-то важное, давно потерянное. Не радость. Не облегчение. Что-то тише и глубже. Как камень, который ложится в ладонь и оказывается тёплым.

Через двадцать минут Даша вызвала машину. Полина молчала всю дорогу, прижимая зайца и время от времени поглаживая карман, где лежал сердолик. Вова сидел на переднем сиденье и тоже молчал, и водитель, привыкший к болливому боссу, поглядывал в зеркало с недоумением, но вопросов не задавал. В машине пахло кожей и дождём, и за окном Москва текла мимо, серая, мокрая, безразличная.

В офисе Людмила встретила их молчаливым кивком и стаканом воды — для Полины. Девочка взяла его обеими руками и выпила маленькими глотками, как пьют те, кто долго терпел жажду, но не хотел показывать.

Даша провела Полину в свой кабинет. Усадила в кресло. Накрыла пледом, который держала в шкафу для ночных пе-

реработок. Полина не сопротивлялась, не капризничала, не задавала вопросов. Просто сидела, обняв зайца, и смотрела перед собой тем спокойным, слишком взрослым взглядом, от которого у Даши каждый раз что-то сжималось внутри.

Вова стоял в дверях.

— Она... — он понизил голос, — она останется тут? Со мной?

— Сегодня — да, — ответила Даша. — Завтра решим. Но сегодня она останется.

Он кивнул. Посмотрел на Полину — долго, внимательно, как смотрят на что-то, что впервые видят по-настоящему. Не как на проблему, не как на обязательство, не как на строчку в иске. Как на ребёнка. Маленького, тихого, с потрёпанным зайцем и тёплым камнем в кармане. Своего ребёнка, которого он видел дважды в жизни и от которого не знал, чего ждать.

Потом тихо сказал:

— Я... я хочу, чтобы она осталась. Не на один день.

Даша посмотрела на него. Потом на Полину. Потом снова на него.

— Тогда тебе придётся научиться, — сказала она. — Не бояться. Не денег, не Риты — себя. Готов?

Вова молчал. Потом, тихо, без улыбки, без бравады, без привычного «обсудим после Дубая»:

— Нет. Но я попробую.

И Даша, которая пять лет слышала от него приказы,

просьбы, угрозы, обещания, которые не выполнялись, — впервые поверила. Не словам. Тишине, которая стояла за ними. Тишине, в которой не было страха, а было что-то, чему она не могла дать имени, но что было похоже на начало.

Рита не позвонила ни в тот вечер, ни на следующий день, ни через день. Вообще — ничего. Как будто её не существовало. Телефон, который она оставила Вове — «если что, ты знаешь, где меня найти» — молчал, и это молчание было не тишиной, а отсутствием: Рита просто выключилась, вынула себя из уравнения, и оставшиеся — Вова, Полина, Даша — должны были как-то жить дальше, без неё.

Первый вечер Полина провела в Вовиной квартире на Патриарших. Квартира была большой, светлой, с высокими потолками и окнами во всю стену, но в ней не было ничего детского. Кожаный диван цвета графита, стеклянный стол, на котором стояла ваза с сухоцветами — единственный намёк на уют, и тот, скорее всего, придумал дизайнер. На стенах — абстрактные картины в тяжёлых рамах. На полках — книги, которые никогда не открывались: толстые, в одинаковых переплётах, купленные погонно, чтобы заполнить пространство. На кухне — кофемашина, винный шкаф и ничего съедобного, кроме коробки с шоколадом из дьюти-фри.

Полина стояла в прихожей, прижимая зайца, и смотрела на всё это с тем выражением, которое бывает у человека, который попал в чужой дом и не знает, можно ли сесть.

— Это где ты живёшь? — тихо спросила она.

— Это где я сплю, — ответил Вова, и сам удивился тому, как точно это прозвучало.

Он показал ей гостевую комнату — единственную, кроме спальни, где была кровать. Большая, взрослая, с жёстким матрасом и тёмным покрывалом. Полина посмотрела на неё, потом на зайца, потом на Вову.

— А тут можно... можно что-нибудь поставить? — спросила она.

— Что угодно, — ответил Вова.

Полина поставила зайца на подушку. Потом достала из кармана сердолик и положила рядом — на тумбочку, рядом с будильником, который показывал 23:47. Два предмета на гладкой, безликой поверхности — серый заяц с пришитым ухом и тёплый оранжевый камень. Единственные вещи в этой квартире, которые были живыми.

Вова стоял в дверях и смотрел, как Полина забирается на кровать — неуклюже, с трудом, потому что кровать была высотой ей по грудь. Она натянула одеяло до подбородка, свернулась калачиком, прижав зайца к себе, и закрыла глаза. Не сказала «спокойной ночи», не попросила включить свет, не попросила оставить дверь открытой. Просто закрыла глаза, как закрывают книгу, которую устали читать.

Вова выключил свет и вышел. В коридоре было темно. Он постоял у двери, прислушиваясь: ни звука. Полина не плакала, не звала, не ворочалась. Она уже умела засыпать в тишине, в любой обстановке, в любой позе — навык, который

дети приобретают не от счастья.

Он пошёл на кухню. Сел за стеклянный стол. Три часа ночи. За окном Москва спала, и только Патриаршие пруды тихо светились фонарями. Вова положил телефон на стол, смотрел на него, ждал: вдруг Рита позвонит, вдруг передумает. Но телефон молчал. Рита исчезла. По-настоящему, основательно, как умеют исчезать только люди, которые знают, что их отсутствие — это тоже сообщение.

Вова набрал Дашин номер. Не потому что хотел — потому что не знал, кому ещё звонить. Она ответила через два гудка — значит, не спала.

— Даш.

— Я здесь.

— Она заснула.

— Хорошо.

— Даш, у меня в квартире нет ничего. Нет еды, нет детской одежды, нет... — он запнулся, — нет ничего, что нужно ребёнку. Я не знаю, что ей есть на завтрак. Я не знаю, во что её одеть завтра. Я не знаю, нужно ли ей говорить «спокойной ночи» или она сама заснёт. Я не знаю.

Даша молчала. Потом тихо сказала:

— Ты ей уже сказал «спокойной ночи»?

— Нет. Я выключил свет и вышел.

— Тогда завтра скажи. Она не попросит, но ей нужно.

Вова закрыл глаза. За пять лет работы с ним Даша слышала его разным: требовательным, извиняющимся, пьяным,

трезвым, паникующим. Но таким — растерянным, как мальчишка, которого впервые оставили одного — не слышала ни разу.

— Я приеду утром, — сказала она. — С продуктами и одеждой. Ничего не трогай, просто... будь рядом, когда она проснётся.

— Даш, ты не обязана.

— Я знаю.

Она повесила трубку. Вова сидел на кухне до пяти утра, слушая тишину. Один раз встал, подошёл к двери Полины, прислушался. Ни звука. Он приоткрыл дверь — ровно на щель — и увидел: Полина спала, свернувшись калачиком, заяц прижат к лицу, сердолик на тумбочке слабо светился в темноте, как уголёк, который забыли потушить.

Он закрыл дверь. Пошёл к себе. Лёг. Не уснул. ***

Утром, в семь, Даша стояла у его двери с двумя пакетами: в одном — продукты, в другом — одежда, купленная по дороге в детском магазине на Тверской. Она не знала размеров Полины, но взяла на глаз: худенькая, невысокая, лет семи. Пижама, две футболки, джинсы, тёплый свитер, носки, кроссовки. И ещё — зубная щётка, детская, с динозавром, потому что Даша помнила, что Полина выбрала футболку с динозавром, когда Рита ещё не ушла. Может, ей нравятся динозавры. Может, нет. Но Даша купила, потому что лучше угадать, чем не попробовать.

Вова открыл дверь — невыспавшийся, небритый, в мятой

рубашке. Выглядел так, будто ночь провёл не в кровати, а на бруствере.

— Ты пришла, — сказал он, и в этих двух словах было столько облегчения, что Даша отвернулась, чтобы он не видел её лица.

— Я принесла яйца, молоко и хлеб, — сказала она, проходя мимо. — И ещё хлопья. Дети любят хлопья.

— Ты не знаешь, что она любит.

— Нет. Но я знаю, что голодному ребёнку нужно дать выбор. Она выберет сама.

Полина проснулась в восемь. Вышла из комнаты осторожно, босиком, с зайцем в одной руке и сердоликом в другой. Увидела Дашу на кухне — и замерла. На секунду. Только на секунду. Потом её лицо изменилось: не улыбка, не радость, а что-то тише и глубже — узнавание. «Ты здесь. Ты не ушла».

— Доброе утро, — сказала Даша. — Яиц или хлопьев?

— Хлопьев, — тихо ответила Полина и села за стол, положив зайца рядом с тарелкой и сердолик — на стол, рядом с солью.

Вова стоял в дверях кухни и смотрел, как Даша наливает молоко в хлопья, как Полина ест — медленно, аккуратно, не проливая ни крошки, — и думал: «Я не умею так. Я не умею просто налить молоко. Я хочу всё купить, всё решить, всё организовать. А нужно — просто налить молоко».

После завтрака Полина сидела на диване, поджав ноги, и рисовала в блокноте Даши. Вова позвонил Лере — Даши-

ной подруге, единственной, чьё имя помнил, — и попросил посидеть с девочкой пару часов. Лера приехала через сорок минут, со своей пятилетней дочкой, и Полина впервые за два дня оказалась не одна со взрослыми, а с ребёнком. Даша видела, как она постепенно оттаяла: сначала сидела в углу, потом придвинулась ближе, потом показала свой рисунок — камни, слоистые, с прожилками — и маленькая Лерина дочка сказала «красиво», и Полина улыбнулась. Впервые за два дня. Коротко, неуверенно, но улыбнулась.

А Даша и Вова сели в его кабинет — не тот, на Садовом, а домашний, маленький, со столом, заваленным бумагами, и ноутбуком, который Вова не открывал уже два дня, в отдельной квартире пару пролетами вверх. Владимир разделял пространство, не далеко, достаточно близко, что бы вернуться, но и не в том же месте, где работа соскальзывает маской и можно расслабиться. И начали писать.

Не отчёт. Не план сделки. Не график встреч. Другое. Список того, что нужно сделать, чтобы в загородном доме — в том самом, в новой Москве, куда Вова ездил по выходным и который пустовал больше, чем жил — появилась комната для девочки.

— Не «детская», — сказал Вова, открывая пустой документ. — Детская — это комната для ребёнка в чужом доме. А это — комната для Полины. В её доме.

Даша кивнула. Достала свой блокнот — тот самый, с ложкой цвета топлёного молока, в котором Полина рисовала

камни, — перелистнула на чистую страницу. Камни, нарисованные детской рукой, остались на предыдущих листах, и Даша подумала, что не станет их стирать. Пусть будут.

— Тогда начнём, — сказала она. — Иди от того, что ты знаешь о ней. Не от того, что, по-твоему, должно быть в детской. От того, что знаешь.

Вова посмотрел на неё.

— Я почти ничего о ней не знаю.

— Ты знаешь, что она любит камни. Знаешь, что она мечтает о Гранд-Каньоне. Знаешь, что она прячет вещи, чтобы их не выбросили. Знаешь, что она не любит, когда громко. Знаешь, что ей важен заяц. Вот и всё. Этого достаточно, чтобы начать.

Вова опустил глаза к пустому экрану. Пальцы легли на клавиши. Он не стал писать красиво — просто вываливал, пункт за пунктом, всё, что приходило в голову, а Даша сидела рядом и уточняла, направляла, добавляла то, о чём он не думал.

— Окно должно открываться, — сказал Вова. — Не форточка, а чтобы можно было распахнуть и почувствовать ветер. И подоконник — широкий, чтобы можно было сидеть, поджав ноги, и смотреть.

— И подушка на подоконник, — добавила Даша. — Большая, мягкая. И плед. Не декоративный, а такой, в который хочется завернуться.

— Три разных света, — продолжал Вова. — Один яркий,

для уроков. Второй тёплый, для чтения. Третий — совсем тихий, ночной. Чтобы можно было включить и не бояться темноты.

— И не верхний, — сказала Даша. — Верхний свет — как в кабинете. Детям нужно, чтобы свет был рядом. Настольная лампа — на гибкой ножке, чтобы можно было повернуть куда хочешь.

— Кровать — низкая. Чтобы она сама могла залезть. И бортик, невысокий. Покрывало — мягкое, чтобы хотелось трогать.

— И много подушек, — сказала Даша. — Не декоративных, а настоящих. Чтобы можно было строить из них что-то. Дети строят из подушек крепости, замки, пещеры. Ей нужно место, где можно спрятаться.

Вова кивнул и записал.

— Ниша. Не шкаф, а ниша — с полками и мягким светом внутри. Чтобы она могла поставить туда свои вещи: зайца, камень, рисунки. Её тайное место. Никто не должен туда лезть без спроса.

— Даже ты, — тихо сказала Даша.

— Даже я, — согласился Вова. И в этом согласии было что-то, чего Даша раньше не слышала: не уступка, не согласие ради спокойствия, а понимание. Впервые он признавал, что у его дочери есть право на пространство, куда ему входа нет. Что быть отцом — это не значит иметь доступ ко всему. Что некоторые двери нужно оставить закрытыми.

— Цвет? — спросила Даша.

Вова задумался.

— Не белый. Не стерильный. Не «под ребёнка», где всё в розовых сердечках. Тёплый. Как песок. Или как кора дерева. И немного зелёного — как мох. И один яркий акцент. Не кричащий, но заметный. Чтобы, когда заходишь, сразу было видно: здесь кто-то живёт.

— Синяя подушка? — предложила Даша.

— Терракотовая, — ответил Вова. — Как сердолик. Пусть будет что-то, что напоминает ей о камне.

Даша посмотрела на него. В полумраке кабинета, с ноут-буком на коленях и ручкой в руке, он выглядел не как миллиардер, не как плейбой, а как человек, который впервые в жизни делает что-то, чего нельзя купить. Который сидит и придумывает комнату — не апартаменты, не пентхаус, не офис — а комнату, в которой будет жить его дочь. И каждая деталь — подоконник, лампа, подушка, ниша — была не архитектурным решением, а попыткой сказать то, чего он не умел сказать словами: «Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Я не знаю как. Но я пытаюсь».

— Книжная полка — открытая, — продолжал Вова. — Не застеклённая. Чтобы книги были на виду, чтобы их хотелось брать. И доска для рисунков — с кнопками, чтобы она прикалывала листы. Чтобы чувствовала, что это её стена.

— И карта, — добавила Даша. — Большая, не учебная. С горами, океанами, лесами. И чтобы можно было ставить

метки. Булавками. Чтобы она отмечала, где хочет побывать.

— Гранд-Каньон, — тихо сказал Вова. — Она отметит Гранд-Каньон.

— Да, — кивнула Даша. — Она отметит.

Они помолчали. Потом Вова сказал:

— И полка для камней. Простая, деревянная, без украшений. Чтобы она ставила туда свои находки. Даже если это просто серые камешки с улицы. Они для неё важны.

Даша почувствовала, как в горле встал ком. Она сглотнула, кивнула.

— Сердолик. Он у неё в кармане. Она с ним не расстанется. Нужно место и для него.

— Не в шкатулке, — сказал Вова. — Не «на хранение». А на виду. На полке, рядом с другими камнями. Чтобы он был частью комнаты.

Они писали до вечера. Даша не заметила, как наступил вечер — она была здесь, в этом кабинете, с ним, и не ушла, хотя должна была. Хотя написала заявление. Хотя решила, что с неё хватит. Хотя каждое «нет», которое она не смогла сказать, было ещё одним гвоздём в стену, которую она строила между собой и им. Но стена не строилась. Вместо неё строилась комната — для девочки, которая через два дня научила их обоих тому, чему они не научились за всю жизнь: быть рядом.

Когда список был готов, Вова позвонил. Не дизайнерам, не архитекторам — сначала Лере, чтобы узнать, как Полина.

Лера сказала: «Нормально. Рисует. Ест. Спать хочет». Потом — команде, которая занималась его загородным домом. Он говорил коротко, чётко, без своей обычной небрежности: «Завтра утром. Полная перепланировка одной комнаты. Вот список. Срок — два дня. Бюджет — без лимита. Но не „без лимита“ в смысле „золото и мрамор“. Без лимита в смысле „сделайте правильно“».

Команда приехала на следующий день, в семь утра. Вова отвёз Полину к Лере, которая вызвалась посидеть, — и поехал в новую Москву. Даша поехала с ним. Не потому что должна была. Потому что не могла не поехать. Потому что знала: если не поедет, он превратит комнату в проект, в сделку, в то, что нужно «сдать в срок». А ей нужно было, чтобы он видел не проект, а будущее. Полинино будущее, которое начиналось с подоконника, подушки и тёплого света.

Загородный дом стоял на краю леса, в получасе от МКАД. Большой, бревенчатый, с террасой и видом на поле, за которым начинался сосновый бор. Вова купил его три года назад, после того, как устал от квартир и захотел «что-то настоящее». Приезжал по выходным, спал, гулял с собакой, которую потом отдал, потому что некому было выгуливать. Дом пустовал больше, чем жил, и в нём было то же, что и в квартире на Патриарших: красиво, дорого, мёртво.

Комната, которую выбрали для Полины, была на втором этаже, с окном на восток. Утреннее солнце заходило сюда первым, и Даша подумала, что это правильно: Полина долж-

на просыпаться со светом, а не с темнотой.

Рабочие начали в восемь. Сначала — демонтаж: сняли старые панели, вынесли мебель, очистили стены. Потом — монтаж: новые доски на стены, тёплый бежевый цвет, одна стена — приглушённо-зелёная, как мох после дождя. Вова стоял в дверях и смотрел, как комната меняется, и впервые в жизни не думал о сроке. Думал о том, как Полина откроет эту дверь и увидит не комнату, а место, где её ждали.

Даша руководила процессом — не потому что Вова не мог, а потому что он не знал деталей, которые делают комнату домом. Она выбирала ткани, щупая их пальцами: «Это жёстко, это скользит, вот это — то, что нужно, мягкое, тёплое, в которое хочется закутаться». Она проверяла свет: «Этот слишком белый, нужен тёплый, жёлтый, как лампа, а не как операционная». Она стояла у окна, когда ставили подоконник, и говорила: «Шире. Ещё шире. Чтобы можно было сидеть с ногами на подоконнике и смотреть на лес».

Нишу делали из дерева — тёплого, гладкого, с полками, которые Полина сможет достать сама. Даша поставила на одну из полок маленькую деревянную шкатулку — не для украшений, а для «сокровищ»: камней, билетов, записок, всего, что кажется важным в семь лет.

На стене повесили карту мира — большую, с горами, океанами, лесами. Даша приколотла первую булавку: Аризона, Гранд-Каньон. Красную. Чтобы Полина, когда войдёт, сразу увидела: её мечта здесь, на стене, отмечена, признана, не

выброшена.

Рядом с картой — доска для рисунков, с кнопками и маленькой корзинкой, где лежали карандаши и фломастеры. На полке — несколько пустых коробочек, чтобы Полина могла разложить свои вещи так, как ей хочется.

Кровать привезли на второй день — низкую, с мягким покрывалом цвета топлёного молока и кучей подушек, среди которых затерялась одна терракотовая — цвета сердолика, как и хотел Вова. Бортик был невысокий, но надёжный, из светлого дерева, гладкий, без острых углов. Рядом с кроватью — маленький коврик, мягкий, пушистый, чтобы босые ноги утром ступали на тёплое, а не на холодный пол.

Стол и стул поставили у окна. Лампа на гибкой ножке уже стояла на столешнице, и Даша проверила её три раза: яркий свет, тёплый свет, ночной свет. Все три режима работали. На столе — пустой блокнот, новый, с гладкой обложкой. Даша положила его туда, потому что знала: Полина рисует, когда ей тяжело. Когда не может говорить — рисует. И ей нужно место, где рисунки ждут.

В шкаф — тот, что был невысокий, с ящиками, которые открывались легко, — повесили крючки на уровне Полининого роста. Положили несколько вешалок, детских, маленьких. Поставили корзину для грязного белья. На полку — сложили полотенца, маленькие, с вышитыми звёздами. Даша выбрала именно со звёздами, потому что думала: если Полина боится темноты, пусть у неё будут звёзды — хотя бы

на полотенцах.

В углу, рядом с окном, поставили маленький радиоприёмник — не современный, а такой, с ручками и шкалой, чтобы можно было крутить и ловить волны. Даша нашла его в антикварном магазине на Арбате. «Пусть будет что-то, что связывает комнату с миром», — подумала она.

А на самой видной полке, в центре ниши, стоял небольшой деревянный ящичек с мягкой подкладкой — специально для сердолика. Камень пока лежал в кармане у Полины, но место для него было готово. Ждало.

Когда всё было закончено, Вова зашёл туда один. Постоял посреди комнаты, прислушиваясь к тишине. Комната была тёплой — не только цветом, но и чем-то неуловимым, тем, что бывает, когда пространство сделано не для картинки, а для человека. Стены — бежевые, с одной зелёной, как лесная поляна. Подоконник — широкий, с подушками и пледом в клетку. Кровать — низкая, мягкая, с терракотовой подушкой, которая выделялась на фоне молочного покрывала, как сердолик на белом песке. Ниша — с тёплым светом и деревянными полками. Карта — с одной красной булавкой в Аризоне.

Он постоял. Потом тихо сказал — ни к кому:
— Тут можно жить.

Те же слова, что потом скажет Полина. Но он сказал их первым — в пустой комнате, в тишине, в доме, который пустовал три года и который впервые, может быть, стал тем,

чем должен был быть. Домом.

Даша стояла за его спиной, в дверях. Она слышала. И подумала: «Вот так выглядит человек, который учится быть отцом. Не идеально, не с первого раза, не по учебнику. Неловко, страшно, через ошибки. Но учится».

И ещё подумала — то, чего не хотела думать, но что уже не могла остановить: «А я учусь быть рядом. Не как помощница, не как клей. А как человек, которому не всё равно».

Рита позвонила на третий день. Не Вове — Даше. Бросила, не здороваясь: «Как она?» — и, не дослушав ответ, повесила трубку. И снова тишина. Даша стояла с телефоном в руке и думала: Рита не позвонила дочери. Не позвонила Вове. Позвонила ей — чужой женщине, помощнице, человеку, который не имел к Полине никакого отношения. И в этом было всё: и вина, и страх, и та странная, изуродованная форма любви, которая не умеет быть рядом, но не может совсем исчезнуть.

Даша не сказала Вове. Просто кивнула сама себе, закрыла телефон и пошла проверять, не забыли ли рабочие положить звёзды на полотенца.

Не забыли. ***

Они приехали ближе к вечеру, когда солнце уже не палило, а мягко ложилось на крыши, окрашивая их в тёплый золотистый цвет. Полина сидела на заднем сиденье рядом с Дашей, прижимая к себе зайца, а сердолик привычно грел карман. Она почти не смотрела в окно — будто боялась, что ес-

ли слишком внимательно будет разглядывать дорогу, то всё это окажется сном и в конце концов они снова окажутся в той безликой квартире на Патриарших, где даже кровать была слишком высокой.

Вова шёл впереди, открывая двери, будто прокладывая путь. В доме пахло свежей древесины и краской — терпким, живым запахом, который бывает, когда пространство перестаёт быть просто квадратными метрами и начинает дышать. Даша держала Полину за руку — не крепко, не так, будто боится, что девочка убежит, а просто чтобы та чувствовала: рядом кто-то есть.

— Это наш дом, — тихо сказал Вова, стоя на пороге второго этажа. Он не сказал «твой дом» — боялся, что слово прозвучит как обещание, которое он пока не имел права давать. Но в интонации всё равно было это: «здесь ты можешь остаться».

Они остановились перед дверью комнаты. Вова чуть замешкался, будто хотел сам первым заглянуть внутрь, проверить, всё ли на месте, не забыли ли чего-то важного. Потом посмотрел на Полину.

— Ты можешь войти первой. Если хочешь. Или мы можем вместе. Или вообще не заходить, если сейчас не хочется.

Полина подняла на него глаза — не с вызовом, не с недоверием, а с тем особенным детским вниманием, когда человек взвешивает каждое слово. Потом перевела взгляд на дверь. Ручка блестела, но не холодно, а как-то по-домашне-

му, будто её уже тысячу раз трогали маленькие руки — хотя это было не так.

Она не ответила. Просто шагнула вперёд и повернула ручку.

Даша задержала дыхание. Ей вдруг стало страшно — не за Полину, а за Вову. За то, как он сейчас будет смотреть на её лицо, как будет ловить малейшее движение, любую тень эмоции, чтобы понять: получилось? Получилось сделать так, чтобы ей было хорошо?

Комната встретила их тихим светом. Не ярким, не режущим глаза, а тёплым, будто кто-то зажег в ней маленький костёр и оставил гореть. Окно было распахнуто, и лёгкий ветерок шевелил край пледа на подоконнике. На кровати лежала куча подушек, среди которых одна — терракотовая — сразу бросалась в глаза. Карта мира висела на стене, и на ней, прямо над Аризоной, поблескивала красная булавка.

Полина вошла и остановилась. Не бросилась к кровати, не побежала к карте, не стала трогать полки. Просто стояла и смотрела, медленно обводя взглядом комнату, как будто пыталась запомнить каждую деталь, чтобы потом, если придётся уйти, она могла закрыть глаза и увидеть это снова.

Потом она подошла к подоконнику. Провела ладонью по деревянной поверхности — проверяя, гладкая ли, настоящая ли. Взяла одну из подушек, прижала к себе, потом положила обратно — будто примеряла, подходит ли. Подошла к нише, провела пальцами по полкам. Остановилась у ящичка

с мягкой подкладкой. Посмотрела на него, потом на Дашу, потом снова на ящичек.

— Это... для сердолика? — тихо спросила она.

Даша кивнула.

— Если хочешь. Там ему будет хорошо. И ты всегда будешь знать, где он лежит.

Полина достала камень из кармана. Поддержала его на ладони, будто давая ему последний шанс остаться с ней. Потом осторожно положила в ящичек. Камень лёг на мягкую ткань, как на своё место. И в этом жесте было что-то взрослое — не по годам, а по тяжести момента: она доверила свою самую ценную вещь этой комнате.

— Тут можно жить, — сказала Полина. И это прозвучало не как восторг, не как благодарность, а как факт. Спокойный, твёрдый, как камень, который она только что оставила в ящичке.

Вова выдохнул — Даша услышала этот выдох, хотя он старался его скрыть. Он стоял у двери, засунув руки в карманы, будто не знал, куда их деть, и смотрел на дочь так, словно боялся спугнуть этот момент одним лишним словом.

— Хочешь, я покажу, как работает лампа? — спросила Даша, мягко нарушая тишину. — У неё три режима. Один для чтения, один для уроков, а один совсем тихий — чтобы не бояться темноты.

Полина кивнула и подошла к столу. Даша показала, как поворачивать ручку, как свет становится то ярче, то мягче,

почти исчезает, оставляя только тёплое пятно. Полина попробовала сама — один раз, второй, будто проверяла, будет ли слушаться.

Потом её взгляд упал на карту. Она подошла ближе, прищурилась, разглядывая булавку.

— Это Гранд-Каньон, — сказала она, не спрашивая, а утверждая.

— Да, — ответил Вова. — Я подумал... пусть будет. Что-бы ты знала, что о твоей мечте помнят.

Полина не подняла на него глаз. Но уголки её губ чуть дрогнули — не улыбка, но что-то близкое к ней. Что-то, что говорило: «я слышу».

Она подошла к кровати, села на край, попробовала, насколько мягкая. Потом легла на бок, подтянув ноги, и обняла зайца. Комната будто приняла её — не шумно, не торжественно, а тихо, как принимают уставшего путника: без лишних слов, просто давая место, где можно выдохнуть.

— Можно я тут посижу? — спросила она, глядя не на Вову, а на окно, за которым темнело небо.

— Конечно, — сказал Вова. И добавил, будто спотыкаясь о собственные слова: — Ты можешь тут сидеть, лежать, рисовать, молчать... всё, что хочешь. Это твоя комната.

Полина снова кивнула. Взяла с полки пустой блокнот, открыла его, провела пальцем по чистой странице. Потом посмотрела на доску для рисунков, на корзинку с карандашами.

— А можно я сейчас ничего не буду рисовать? — спросила она. — Просто посижу.

— Можно, — сказала Даша. — Иногда самое важное — просто посидеть и понять, что ты дома.

И в этот момент что-то щёлкнуло — не в комнате, а между ними. Не громкий звук, а тихий, почти неслышный, как щелчок замка, который наконец-то встал на место. Полина осталась сидеть на кровати, прижимая зайца, глядя в окно, где зажигались первые звёзды. Вова стоял у двери и не уходил. Даша присела на край подоконника, не мешая, просто оставаясь рядом.

А комната жила. Плед слегка шевелился от ветра, лампа тихо светилась в ночном режиме, карта ждала новых булавок, ящичек хранил сердолик, а подоконник был готов принять маленькую девочку, которая будет сидеть на нём, поджав ноги, и смотреть на лес.

Это был не идеальный момент. Не радостный до слёз, не счастливый до крика. Но он был настоящий. И этого было достаточно.

Глава 4. Первый вечер

Даша уехала, она ведь не могла целый день вот так сидеть с отцом и дочерью.

Вечер опускался на дом медленно, будто не хотел торопить события. В комнате Полины свет горел в самом тихом режиме — тот самый, который Даша показывала днём: тёплый, приглушённый, словно прятавшийся в углах, чтобы не пугать темноту. За окном лес уже стал чёрным силуэтом, и только верхушки сосен ещё цепляли последние отблески заката.

Полина сидела на широком подоконнике, поджав ноги, и смотрела в окно. Сердолик она достала из ящичка и теперь сжимала в ладони — не до побеления костяшек, а так, как держат что-то родное: крепко, но бережно. Иногда она разжимала пальцы, смотрела на камень, будто проверяя, тот ли он, и снова сжимала. Окно было приоткрыто, и в комнату заходил прохладный воздух — тот самый, о котором Вова просил: «Пусть будет ветер».

Вова стоял в дверях, потом прошёл к шкафу, будто хотел что-то поправить, потом к столу, будто искал какую-то важную бумажку. На самом деле он искал точку опоры — любое действие, которое выглядело бы осмысленным. Он привык, что вечер — это звонки, письма, встречи, планы. А тут не было ни плана, ни повестки, ни даже задачи, которую мож-

но решить деньгами. Была только девочка у окна, которая не просила ничего, кроме тишины, и он не знал, как эту тишину не испортить.

— Может... — начал он и остановился. — Может, ты хочешь что-нибудь почитать? Тут есть книжки... ну, их привезли сегодня, я не смотрел, но...

Полина не повернула головы. Только чуть крепче прижала сердолик.

— Не надо, — сказала она тихо, почти шёпотом. — Я просто посижу.

Вова кивнул, будто она дала ему инструкцию, и эта инструкция была сложной, но понятной. «Не надо. Просто посиди». Он огляделся, будто впервые видел комнату, и вдруг понял, что в ней нет ни одного места, где он мог бы сесть так, чтобы это выглядело естественно. Кресло было слишком взрослым, кровать — слишком «её», стул у стола — слишком офисным. Тогда он просто опустился на пол, не рядом, а чуть в стороне, так, чтобы видеть её профиль в свете лампы, но не нависать.

Он посидел так минуту. Потом ещё одну. Потом достал телефон, посмотрел на экран, будто там могло появиться что-то срочное, что вытащит его из этой тишины. Ничего не появилось. Телефон лёг экраном вниз.

И тут его накрыло — не паника, а та самая беспомощность, которая приходит, когда ты можешь купить всё, кроме нужного слова. Он набрал Дашу. Не сообщение — звонок.

И когда она ответила, он выдохнул, будто до этого держал дыхание.

— Даш, — сказал он, стараясь говорить ровно, но голос всё равно дрогнул. — Даш, а что ей есть? А когда она спит? А если она заплачет? Я не знаю... Я ничего не знаю. Тут тишина, и я боюсь сделать не так. Боюсь сказать не то.

Даша слушала. Она стояла у себя на кухне, в старом свитере, с чашкой остывшего чая в руке, и слышала не только слова, а то, что между ними: страх человека, который впервые понял, что власть — это не про приказы, а про ответственность, и она тяжелее любых денег.

— Я приеду, — сказала она просто. — Не потому что ты не справишься. А потому что вам обоим сейчас легче, когда я рядом.

— Спасибо, — прошептал он. И это «спасибо» было не за помощь, а за то, что она не стала говорить «ты справишься», не стала подбадривать. А просто сказала: «я приеду».

Через сорок минут Даша была в доме. Вова встретил её у двери, будто боялся, что если не встретит, она передумает. Они поднялись на второй этаж, и Даша сразу пошла не к нему, а к Полине. Не обняла, не поцеловала, а просто встала рядом с подоконником, посмотрела на лес, на тёмные сосны, на первые звёзды.

— Тут хороший вид, — сказала Даша. — Если сидеть вот так, поджав ноги, можно представить, что ты на краю мира. И никто не торопит.

Полина чуть кивнула.

— Я так и думала, — прошептала она.

Даша улыбнулась. Потом наклонилась и тихо спросила:

— Помнишь, ты мне по секрету сказала, что любишь пиццу пепперони? Если хочешь, я закажу. Тут рядом есть одна пиццерия, они делают с хрустящей корочкой.

Полина снова кивнула. На этот раз чуть живее.

— И без ананасов, — добавила она, будто это было самое важное условие.

— Без ананасов, — серьёзно подтвердила Даша. — Это вообще не пицца.

Она заказала пиццу, и они стали ждать. Вова хотел было уйти вниз, «проверить что-то», но Даша мягко остановила:

— Не уходи. Просто будь тут. Не надо никаких деловых предложений, не надо планов на завтра. Просто посиди. Даже если это выглядит как ничего. Для неё это — всё.

Он сел на пол, как и раньше. Даша села рядом, прислонившись спиной к стене, вытянув ноги. Полина осталась на подоконнике. И в комнате стало не трое, а одно пространство — неловкое, непривычное, но уже не разорванное.

Пицца приехала через полчаса. Даша принесла её на подносе, поставила на низкий столик, который стоял у кровати. Полина слезла с подоконника, села на пол, скрестив ноги, и взяла кусок. Вова тоже взял кусок, хотя есть не хотелось — просто чтобы было чем занять руки.

Они ели молча. Полина — аккуратно, откусывая по чуть-

чуть, будто боялась, что это исчезнет. Вова — будто выполнял инструкцию: «съешь кусок, посмотри на дочь, не спеши». Даша следила за тем, чтобы никто не чувствовал себя обязанным говорить.

Когда с пищей было покончено, Полина собрала все корочки и положила их на край тарелки — так, как делают дети, которым важно, чтобы всё было на своём месте. Потом она посмотрела на Вову. Не прямо, а искоса, будто проверяла, уйдёт ли он сейчас, как уходили другие взрослые, когда дело было сделано.

Он не ушёл. Он сидел и смотрел на неё — не с ожиданием, не с требованием, а просто смотрел, как смотрят на что-то хрупкое и важное.

— Ты... — начал он и запнулся. — Ты хочешь ещё что-нибудь? Чай? Молоко?

Полина покачала головой.

— Тогда... — он снова остановился, подбирая слово, которое не звучало бы как приказ. — Тогда, если хочешь, можем просто посидеть. Или ты можешь лечь, если устала.

Она посмотрела на кровать, потом на подоконник, потом снова на него.

— Можно я ещё посижу? — спросила она. — Тут ветер.

— Конечно, — быстро сказал он. И тут же испугался, что «быстро» звучит неправильно — будто он слишком рад, что она не хочет спать. Поэтому добавил тише: — Сколько хочешь. Хоть всю ночь.

Полина улыбнулась — совсем чуть-чуть, краешком губ. Это была не широкая улыбка, не та, что показывают на фотографиях. Но это была улыбка. И Вова понял: он не испортил вечер. Он не сделал ничего особенного, но и не сломал.

Потом она зевнула. Тихо, почти незаметно, но Даша увидела.

— Знаешь, — сказала она, — иногда ветер лучше всего чувствуется, когда лежишь. Можно завернуться в плед, оставить окно приоткрытым, и тогда кажется, что дом дышит вместе с тобой.

Полина подумала секунду. Потом кивнула и легла, не на середину кровати, а с краю, так, чтобы можно было быстро встать, если что. Даша подоткнула плед, но не туго, а свободно, чтобы он не сковывал.

— Спокойной ночи, — тихо сказала Даша.

— Спокойной ночи, — прошептала Полина. И, чуть помедлив, добавила: — Спасибо за пиццу.

Даша кивнула.

Вова стоял у двери и не знал, что делать. Ему хотелось сказать «спокойной ночи», но слово казалось слишком лёгким для того, что происходило. Хотелось пообещать, что всё будет хорошо, но он не имел права обещать. Поэтому он просто сказал:

— Если что... я буду внизу. Или тут. Где скажешь.

Полина посмотрела на него, будто взвешивала эти слова. Потом чуть-чуть подвинулась, освобождая место на краю

кровати — не много, не как приглашение, а как разрешение: «ты можешь сесть, если хочешь».

Он сел. Осторожно, чтобы кровать не скрипнула. Посидел минуту. Потом наклонился и тихо, почти на ухо, сказал:

— Я рад, что ты здесь.

Полина закрыла глаза.

— Я тоже, — прошептала она, уже почти засыпая.

Даша вышла из комнаты первой, оставив дверь приоткрытой — ровно настолько, чтобы из коридора падал тонкий луч света. Вова посидел ещё немного, слушая, как Полина дышит — сначала чуть нервно, потом ровнее, глубже. Потом он встал, поправил плед, который и так лежал ровно, и вышел.

Внизу, на кухне, его ждала Даша с двумя кружками горячего шоколада.

— Она уснула, — сказал он, садясь напротив.

— Знаю, — улыбнулась Даша. — По её дыханию слышно. Сначала она будто проверяет, безопасно ли. А потом отпускает.

Он кивнул. Взял кружку, но не пил, а держал в ладонях, грея пальцы.

— Я ничего не умею, — признался он. — Ни уложить, ни накормить, ни просто... быть рядом. Я всё делаю неловко.

— Это нормально, — сказала Даша. — Быть родителем — это как учиться ходить. Сначала падаешь, потом встаёшь, потом делаешь шаг. Главное — не бросать.

Он посмотрел на неё. В полумраке кухни, с кружкой в ру-

ках, она казалась ему единственным человеком, который не ждёт от него идеальных решений. Который знает, что иногда лучший план — это просто сидеть и не уходить.

— Спасибо, что ты тут, — снова сказал он.

— Пожалуйста, — ответила Даша. — Но знаешь, скоро придётся справляться самому. Не потому что я уйду. А потому что ей нужно, чтобы рядом был ты. Не помощник. Не менеджер. Ты.

Он помолчал. Потом тихо, но твёрдо сказал:

— Я попробую.

И в этом «попробую» не было бравады. Не было обещания, которое легко забыть. Было признание: «я не знаю, но я хочу научиться».

Они посидели ещё немного. Потом Даша собрала кружки, сказала, что поедет домой. — Постарайся не звонить по мелочам. У тебя уже получается. ***

Когда она уехала, дом стал тише. Но не пустым. Вова поднялся наверх, постоял у приоткрытой двери. Полина спала, свернувшись калачиком, плед сполз на край, и он аккуратно подтянул его, стараясь не разбудить. Подоконник был пуст, но на нём лежала маленькая тень — будто память о том, что тут кто-то сидел и смотрел на лес.

Он постоял ещё немного, потом выключил верхний свет, оставив только тихий ночник. И сел на пол у двери — не в комнате, но рядом, так, чтобы слышать, если она позовёт.

Это был его первый настоящий вечер в роли отца. Не по

документам, не по решению суда, а по выбору: остаться, когда хочется уйти; молчать, когда хочется говорить; сидеть на полу, когда можно было бы лежать в дорогой кровати внизу.

И он сидел. И слушал, как дом дышит. И как в этом дыхании уже звучал голос маленькой девочки, которая впервые за долгое время почувствовала: тут можно жить.

Глава 5. Ультиматум

Полина проснулась в семь. Не от будильника — от света. Окно смотрело на восток, и утреннее солнце, точно так, как Даша и задумывала, заходило в комнату первым, ложилось на подушку, на край пледа, на тумбочку, где лежал зайца. Полина открыла глаза, поморгала, огляделась — и на секунду замерла, будто не понимала, где она. Потом увидела нишу с полками, карту с красной булавкой, терракотовую подушку — и вспомнила. И в этом «вспомнила» не было ни радости, ни горечи, а только тихое узнавание: «А, да. Я тут. Это моя комната».

Она слезла с кровати — слезла легко, потому что кровать была низкой, как и просил Вова, — и босиком прошла к подоконнику. Села, поджав ноги, прижала лоб к стеклу. За окном стоял сосновый бор, и в утреннем свете он казался нарисованным: тёмные стволы, зелёные кроны, лёгкий туман, который ещё не рассеялся и лежал между деревьями, как белая ткань. Полина смотрела и молчала, и только пальцы её машинально искали сердолик — но камень лежал в ящичке, в нише, и она не стала за ним тянуться. Просто сидела и смотрела.

Вова проснулся через полчаса. Он спал в гостиной, на диване, потому что не хотел уходить далеко — на случай, если Полина позовёт. Она не позвала. Он поднялся по лестнице,

остановился у приоткрытой двери, заглянул. Полина сидела на подоконнике, маленькая, в пижаме с динозаврами, которую Даша купила на Тверской, угадав с первого раза. Сидела и смотрела на лес так, будто он был не лес, а картина, которую она давно хотела рассмотреть.

— Доброе утро, — тихо сказал Вова, не входя в комнату, а оставаясь в дверях, будто спрашивая разрешения.

— Доброе утро, — ответила Полина, не оборачиваясь.

— Как спалось?

— Хорошо. Тут тихо.

Вова кивнул. Постоял ещё секунду, потом пошёл на кухню — готовить завтрак. Готовить — громко сказано. Он не умел готовить. Но Даша вчера оставила в холодильнике яйца, хлеб, масло и записку: «Яичница: разбить в сковороду, включить конфорку на средний, ждать, пока белок станет белым. Не пережарь». Он разбил. Одно яйцо упало мимо — на пол, и он вытирал его бумажным полотенцем, ругаясь шёпотом. Второе упало куда нужно. Он включил конфорку, как было написано, и стал ждать. Ждал и смотрел, как белок медленно меняет цвет, и думал, что это, может быть, самое важное, что он делает в своей жизни: яичницу для дочери.

Полина спустилась в десять. Она шла осторожно, держась за перила, и в руках у неё были заяц и блокнот — тот самый, который Даша положила на стол. Она уже нарисовала что-то — Вова видел краем глаза: деревья, сосны, может быть, тот самый бор, который видела из окна.

— Яичница, — сказал он, ставя перед ней тарелку. — Сам делал.

Полина посмотрела на яичницу. Она была чуть подгоревшая по краям, но в середине — мягкая, как Даша и описывала. Полина взяла вилку, откусила.

— Вкусно, — сказала она. Не восторженно, не из вежливости, а просто констатируя. И Вова понял, что это, может быть, самый честный комплимент, который он получал за последние пять лет.

После завтрака Полина сидела на террасе, свесив ноги, и рисовала. Вова сидел рядом, на расстоянии вытянутой руки, и не знал, что делать дальше. Он уже накормил её, уже убедился, что она спала, уже проверил, что ей нравится комната. Что дальше? Какой следующий пункт в списке «как быть отцом»? Списка не было. Не было ни инструкции, ни регламента, ни графика. Была только тишина, в которой Полина рисовала сосны, а он сидел и слушал, как ветер шумит в кронах.

На третий день он понял: так продолжаться не может. Не потому что плохо — а потому что этого мало. Он кормит её яичницей, сидит рядом, молчит. Но между ними — стена из семи лет, которую не пробить яичницей и молчанием. Полина не отодвигается, но и не приближается. Она терпит его рядом, как терпят соседа в поезде: вежливо, спокойно, но без тепла. А ему нужно было не «терпят». Ему нужно было — «хотят».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.